

Антон Денисов

Господствуй над ним

«Автор»
2026

Денисов А. С.

Господствуй над ним / А. С. Денисов — «Автор», 2026

В 1937 году двенадцатилетняя девочка сказала следователю одно имя. Человека увезли на барже. А тот, кто на самом деле поджёг амбар, остался жить в соседнем доме, женился на невесте брата и вырастил сына. Шестьдесят лет всё село знало правду и молчало.Весной 1998 года, в ночь ледохода, старая учительница садится записать, как всё было. В тот же год в Вознесенку возвращается немка, высланная в сорок первом. Она ничего не просит.
Все все понимают. Раскулачивание, голод, колокол на дне Волги, лагерь, депортация, Сталинград. Два брата, одна женщина и одно письмо, которое десять лет пролежало за иконой.

© Денисов А. С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Господствуй над ним 5
Пролог 5
Часть первая. Семьи 7
Глава 1. Кольцовы 7
I 7
II 9
III 11
Глава 2. Шумилины 14
I 14
II 16
III 18
Глава 3. Фогели 20
I 20
II 22
III 24
Глава 4. Преображенские 27
I 27
II 30
III 32
Глава 5. Раскулачивание 35
I 35
II 37
III 41
Глава 6. Колокол и голод 44
I 44
II 49
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Антон Денисов
Господствуй над ним

Господствуй над ним

Пролог

Вознесенка, апрель 1998 года

Лёд тронулся ночью.

Она проснулась не от звука — звука ещё не было, — а от того, что изменилась тишина. Так бывает в доме, где долго тикали часы и вдруг остановились: сперва не понимаешь, что случилось, и только потом слышишь пустоту. Она лежала и слушала эту пустоту над Волгой, пока из неё не родился первый треск, длинный, сухой, будто кто-то огромный медленно разрывал холстину от одного берега до другого.

Она встала, не зажигая света, накинула на плечи старую шаль и подошла к окну.

Дом стоял на самом краю кручи, там, где когда-то была поповская усадьба. Внизу, в темноте, двигалась река. Лёд шёл не сразу — сначала он только вздыхал и оседал, потом начинал ломаться у берегов, и льдины, тяжёлые, серые, с вмёрзшими ветками и соломой, вставали на дыбы, наползали друг на друга, и всё это поле, ещё вчера неподвижное, по которому ребятишки бегали на тот берег за самогоном, вдруг поплыло — медленно, неотвратимо, как плывёт время, когда его наконец замечаешь.

Справа, выше по круче, темнела церковь без креста. Шестьдесят семь лет она стояла без колокола. Летом его обещали поднять со дна — приезжали водолазы из Саратова, мерили, ныряли, нашли. Батюшка, молодой ещё, с бородкой клинышком, ходил по дворам, собирал деньги. Собирали плохо. В селе денег не было ни у кого. Было у одного человека, но об этом она пока не думала.

Она простояла у окна до рассвета. Ей было семьдесят три года, ноги к утру отекали, и врач в районе говорил, что сердце у неё «изношенное». Она соглашалась. Сердце и правда было изношенное — но не от возраста.

Когда небо над левым берегом стало серым, а потом розовым, она отошла от окна, зажгла лампу над столом и достала из ящика толстую общую тетрадь в клеёнчатой обложке. Тетрадь лежала там с осени. Она покупала её в райцентре вместе с хлебом и солью и сама удивилась, зачем берёт. Потом поняла.

Она открыла первую страницу. Подержала ручку над бумагой. Рука дрожала, и она подождала, пока перестанет.

Всю жизнь она учила детей писать. Объясняла им, что слово — это поступок. Что сказанное нельзя вернуть, как нельзя вернуть пулю или воду, ушедшую вниз по реке. Дети кивали, не понимая. Она и сама в их годы не понимала. В двенадцать лет она сказала одно слово — точнее, одно имя, — и Волга шестьдесят лет уносила его вниз, и никакой ледоход не мог его догнать.

Но, может быть, можно было хотя бы рассказать, как всё было на самом деле. Не ради прощения. Прощения, она знала, не бывает по заказу. Ради того, чтобы правда наконец оказалась записанной хотя бы где-то, хотя бы в клеёнчатой тетради за восемь рублей.

Внизу, на реке, с грохотом разломилась большая льдина.

Она вывела первую строку:

«Весной двадцать девятого года Волга разлилась так широко, что Матвей Кольцов три дня не мог выйти в поле…»

Часть первая. Семьи

Глава 1. Кольцовы

I

Весной двадцать девятого года Волга разлилась так широко, что Матвей Кольцов три дня не мог выйти в поле.

Он выходил к реке каждое утро, ещё затемно, становился на краю огорода, там, где плетень обрывался над водой, и подолгу смотрел на разлив. Вода стояла до самых ветел на том берегу и дальше, до горизонта, мутная, рыжая от глины, и в ней, как в зеркале, которое кто-то забыл протереть, отражалось небо. По воде плыли бревна, чья-то сорванная калитка, клочья соломы. Однажды проплыла дохлая корова, раздутая, кверху ногами, и Матвей перекрестился — не из жалости к корове, а по привычке, потому что всякая смерть, проплывающая мимо, требовала креста.

Ему был сорок один год. Он был широкий, невысокий, с короткой шеей и тяжёлыми руками, которые даже в покое не лежали расслабленно, а держались чуть согнутыми, будто сжимали невидимые чапиги. Борода у него начала седеть с подбородка, и это делало лицо строже, чем оно было на самом деле. Говорил он мало. В селе его уважали и немного боялись — не потому, что он был зол, а потому, что никто не мог припомнить, чтобы Матвей Кольцов хоть раз сказал слово, от которого потом отступился.

У него было двенадцать десятин земли, две лошади, корова с тёлкой, овцы, пятистенный дом под железом — единственная железная крыша на всём нижнем порядке — и молотилка, купленная в складчину с братом ещё до войны. Брат погиб в шестнадцатом под Луцком, и молотилка осталась Матвею целиком. Всё остальное он нажил сам: в девятом году вернулся с отходов из Астрахани с деньгами, взял в жёны Дарью Ерохину, первую на селе невесту, и с тех пор работал так, словно за ним гнались.

Он и правда чувствовал, что за ним гонятся. Только не мог бы сказать — кто.

— Отец, — окликнули сзади. — Мать зовёт.

Он обернулся. У калитки стоял Степан, старший, в отцовской старой поддёвке, которая на нём уже не сходилась. Девятнадцать лет — а ростом перегнал отца на полголовы, и в плечах был такой же, кольцовский, разве что жилистей. Лицо у него было тёмное, скуластое, с густыми сросшимися бровями, и смотрел он всегда чуть исподлобья, будто заранее ждал, что его в чём-то обвинят.

— Иду, — сказал Матвей.

Степан не уходил. Постоял, посмотрел на воду.

— Петровы говорят, к четвергу спадёт. У них нижнее поле уже обсохло.

— У Петровых поле на взгорке. Наше раньше субботы не обсохнет.

— Можно с верхнего начать. С клина за мельницей.

Матвей помолчал. Мысль была дельная, и он сам думал о том же вчера, но ему почему-то не хотелось, чтобы её высказал Степан. Он и сам не понимал этой своей неохоты и стыдился её, как стыдятся тайной болезни.

— Поглядим, — сказал он и пошёл к дому.

Дом стоял задом к реке, лицом к улице, и в утреннем свете его железная крыша, крашенная суриком, горела, как начищенный самовар. Дарья ждала на крыльце. Она была тоньше и выше мужа, и в свои тридцать шесть сохранила ту прямую, лёгкую стать, за которую когда-то

её звали «Дашка-струнка». Глаза у неё были серые, спокойные, и в селе говорили, что у Дарьи Кольцовой глаза как у иконы — смотрят на тебя, а видят что-то за тобой.

— Алёшка где? — спросил Матвей.

— С ночи ушёл. С Илюшкой поповским лодку смолят.

— Лодку, — повторил Матвей, и в голосе его не было ни раздражения, ни упрёка, а только что-то вроде усмешки. — Пахать скоро, а он лодку.

Но он сказал это так, как говорят о любимой собаке, которая опять стащила со стола хлеб.

Степан, шедший следом, услышал эту интонацию и опустил голову.

Вознесенка лежала на правом, высоком берегу, в том месте, где Волга после долгой прямой излучины круто заворачивала к востоку. Село спускалось к воде тремя порядками: верхний, богатый, с крепкими домами под тёсом и железом; средний, где жили середняки; и нижний, у самой реки, — бедняцкий, с саманными мазанками, которые каждую весну подтапливало. Над всем этим, на самой круче, стояла белая каменная церковь Вознесения Господня, построенная в 1856 году на деньги купца Сапожникова. Её было видно с парохода за десять вёрст, и капитаны, проходя мимо, давали гудок.

За церковью начинался овраг — глубокий, заросший терновником и бузиной, с ручьём на дне. А за оврагом, на другом его склоне, лежала немецкая колония Розенталь: прямые улицы, одинаковые дома с высокими крышами, кирха с острым шпилем, ветряная мельница. Немцы жили там с екатерининских времён, говорили между собой по-своему, ходили в свою кирху, но торговали с вознесенскими, нанимались к ним на молотьбу и сами нанимали. Через овраг был перекинут дощатый мостик, который каждую весну сносило и каждое лето ставили заново — то русские, то немцы, кто первый соберётся.

Этой весной мостик ещё не поставили.

II

В субботу Матвей сказал за ужином:

— С утра начнём с верхнего клина. За мельницей. Там обсохло.

Сказал так, будто сам придумал. Степан поднял глаза от миски, хотел что-то ответить, но встретил взгляд матери — короткий, просящий — и промолчал.

Он вышел в поле затемно, раньше отца. Запряг Гнедка, самого сильного из двух, взял плуг с новым лемехом, который сам наточил с вечера, и к тому времени, когда над левым берегом проступила первая белёсая полоса, прошёл уже три борозды. Земля на клину была тяжёлая, сырая, она липла к лемеху пластами и пахла так, что у Степана кружилась голова, — прелой соломой, талой водой, чем-то живым и тёмным, что лежало в ней всю зиму и теперь просыпалось.

Он любил этот запах. Он любил землю — не так, как отец, хозяйской, расчётливой любовью, а иначе, почти телесно, как любят женщину, которую боятся потерять. Но об этом никто не знал. Степан не умел говорить о том, что любит. Ему казалось, что, если сказать вслух, это сразу отнимут.

Борозды у него ложились ровно, как по линейке, пласт к пласту, без огрехов. Когда взошло солнце, он обернулся, посмотрел на вспаханную полосу — чёрную, лоснящуюся, с паром над ней, — и в груди у него что-то разжалось. Он подумал: «Отец увидит».

Отец пришёл через час, со вторым конём и с бороной. Остановился на краю клина, оглядел пашню, кивнул.

— Алёшка где? — спросил он.

Степан пожал плечами.

— Спит, поди.

— Не спит. Я заходил — постель холодная.

Они работали молча до полудня. Степан пахал, Матвей боронил за ним, и пашня росла, и ни один из них за всё утро не сказал ни слова, кроме «но!» и «тпру!». Это молчание не было враждебным. Оно было привычным, как привычна старая боль, о которой перестаёшь думать.

В полдень пришла Дарья с узелком: хлеб, сало, варёные яйца, кринка молока, завязанная тряпицей. Они сели на меже, у старой дикой груши, которая каждый год цвела, но никогда не давала плодов. Дарья налила мужу молока, потом сыну. Подала Степану ломоть потолще.

— Ровно пашешь, — сказала она тихо.

Он кивнул, не поднимая глаз, и уши у него покраснели.

В это время на дороге, огибавшей клин, показался всадник. Ехал он неспешно, на хорошем буланом жеребце, которого в селе все знали — жеребец был реквизирован в двадцатом у мельника Сапожникова и с тех пор переходил от одного начальства к другому. Сейчас на нём сидел Пётр Шумилин, председатель сельсовета.

Он придержал коня у межи. Был он одних лет с Матвеем, но казался старше: худой, жёлчный, с впалыми щеками, в шинели без погон, которую носил круглый год. На впалой груди поблёскивал значок ОДН — общества «Долой неграмотность». Когда-то, до германской, Петька Шумилин был первым гармонистом на селе, и девки бегали за ним гурьбой. Потом была война, плен, революция, ещё одна война — и вернулся он из всего этого другим человеком, будто его вывернули наизнанку и забыли вывернуть обратно.

— Бог в помощь, — сказал он.

— Бога ж нет, — ответил Матвей, не вставая. — Ты сам на сходе говорил.

Шумилин усмехнулся, но глаза у него не усмехнулись.

— Говорил. И ещё скажу. — Он помолчал. — Рано начал, Матвей Ильич. Люди только к четвергу выйдут.

— У людей своя земля, у меня своя.

— Пока своя, — сказал Шумилин.

Он сказал это негромко, почти лениво, но Дарья вздрогнула и пролила молоко на подол. Шумилин посмотрел на неё — и в этом взгляде, коротком, как вспышка, было что-то такое, чего Степан не понял, но запомнил. Так смотрят на дом, в котором прошло детство и который теперь принадлежит чужим.

— Здравствуй, Дарья Тимофеевна.

— Здравствуй, Пётр Савельич.

Он тронул коня и уехал. Матвей долго смотрел ему вслед, и желваки ходили у него под бородой.

Алексей появился, когда солнце уже клонилось к ветлам. Он шёл по меже босиком, с сапогами через плечо, мокрый до пояса, в разорванной рубахе, и улыбался так, что не улыбнуться в ответ было невозможно. Ему было шестнадцать. Он был светловолосый, тонкий, в мать, с её серыми глазами, но в нём не было её тихой сдержанности: он весь был нараспашку, как окно летом.

— Батя, не серчай! — крикнул он ещё издали. — У деда Ерофея козу унесло!

Оказалось вот что. Бобыль Ерофей, живший в самой крайней мазанке нижнего порядка, держал единственную козу, Маньку, и этой ночью вода подмыла его сарай. Козу унесло на льдине к затопленным ветлам. Ерофей бегал по берегу и выл, как по покойнику. Алексей с поповским Ильёй, смолившие неподалёку лодку, услышали, спустили её на воду недосмолённой, полдня гонялись за козой между деревьями, черпая воду шапками, и в конце концов привезли — живую, орущую, злую.

— Дед Ерофей плакал, — рассказывал Алексей, и глаза у него сияли. — Говорит, Алёша, я за тебя Богу свечку поставлю. А я говорю: деда, церковь-то закроют скоро, где ставить будешь? А он: в сердце поставлю, там не закроют.

Матвей слушал, и лицо его медленно разглаживалось. Потом он засмеялся — коротко, хрипло, как смеялся очень редко, — и хлопнул сына по мокрому плечу.

— Ах ты, Божья душа. Козу. А отец тут один корячься.

— Не один, — сказал Алексей и обернулся к брату. — Стёп, прости. Я завтра за двоих.

Степан ничего не ответил. Он смотрел на отца — на отцовскую руку на плече Алексея, — и в груди у него снова стало тесно, как было всю жизнь, сколько он себя помнил.

Отец так и не сказал ни слова о пашне. Ни о ровных бороздах, ни о том, что Степан один, до света, поднял почти весь клин. Он стоял на краю чёрного поля, обняв младшего, и смотрел на закат, и вся эта земля, вспаханная чужими руками, была для него просто землёй.

А козу дед Ерофей потом назвал Алёнкой. В честь спасителя.

III

Пасха в тот год пришлась на пятое мая.

Потом, много лет спустя, старики в Вознесенке будут вспоминать её как последнюю настоящую Пасху. Будут и другие — тайные, в избах, при занавешенных окнах, с куличом, испечённым из припрятанной муки, — но такой, чтобы всем селом, с крестным ходом вокруг церкви, с колокольным звоном, который слышали в Розентале и, говорят, даже на том берегу, — такой больше не будет. Но тогда этого ещё никто не знал. Тогда шли с горящими свечами по круче, прикрывая огонёк ладонями от ветра с реки, и отец Иоанн, высокий, седой, в золотой ризе, возглашал «Христос воскресе!», и сотни голосов отвечали ему, и Волга внизу, уже вошедшая в берега, лежала тёмная и тихая, будто тоже слушала.

Утром, после разговения, в доме Кольцовых дарили подарки. Так повелось с тех пор, как дети подросли: на Пасху каждый что-нибудь дарил отцу и матери. Обычно это были пустяки — платок, вышитый кисет, крашеное яйцо с узором, — но Матвей принимал их всерьёз, с торжественным лицом, и это было единственное время в году, когда он позволял себе быть смешным.

Алексей подарил первым. Он вынес из сеней что-то длинное, завёрнутое в мешковину, и положил перед отцом на стол.

Это было топорище. Новое, из выдержанного ясеня, гладкое, как кость, отполированное до медового блеска. На нём было вырезано: «М. И. К. 1929», а ниже — маленький крест и колосок.

— Для дедова топора, — сказал Алексей. — Старое-то треснуло, ты его проволокой обмотал. Я всю зиму у Фогеля в мастерской сидел. Генрих Карлович показывал, как ясень сушить.

Матвей взял топорище. Повертел в руках. Провёл большим пальцем по вырезанным буквам — медленно, как слепой читает лицо. И вдруг Степан увидел то, чего не видел никогда в жизни: у отца задрожал подбородок.

— Ну, — сказал Матвей хрипло. — Ну, удружил.

Он притянул Алексея к себе и поцеловал в макушку. Три раза, по-пасхальному.

Потом очередь дошла до Степана.

Он готовился к этому дню полгода. В ноябре, когда работы стало меньше, он сказал отцу, что пойдёт на заработки в Покровск, на маслобойню. На самом деле он пошёл в Саратов, на пристань, грузчиком. Там платили втрое. Он таскал мешки с мукой и ящики с воблой по обледенелым сходням, спал в бараке на сорок человек, ел раз в день и всё откладывал, копейку к копейке, в зашитый в подкладку кисет. В марте, перед самым ледоходом, он пошёл в часовую лавку на Немецкой улице и выложил на прилавок всё, что было.

Он положил перед отцом маленькую коробочку, обтянутую красным бархатом.

Матвей открыл её. Внутри, на белом атласе, лежали карманные часы — серебряные, с гравированной крышкой и цепочкой. На крышке было выбито: «Павел Буре». Они тикали. В тишине горницы этот звук был отчётливым и чужим, будто в дом вошёл посторонний человек и встал у порога.

Матвей долго смотрел на часы, не притрагиваясь.

— Это откуда? — спросил он наконец.

— Купил.

— На какие?

— Заработал. — Степан облизнул губы. — Я не в Покровске был. В Саратове. На пристани.

Стало тихо. Даже Алексей перестал улыбаться.

— На пристани, — повторил Матвей. — Значит, отцу соврал.

— Ты бы не пустил.

— Не пустил бы. — Матвей закрыл коробочку. Щёлкнул замочек. Тиканье стало глуше, но не исчезло. — Мужик, который от земли на сторону бегает за лёгкой деньгой, — это уже не мужик, Степан. Это босяк. Я в Астрахани таких навидался. Пропили всё, и землю, и душу.

— Я не пропил. Я тебе…

— Мне это ни к чему. — Отец отодвинул коробочку на край стола. — У мужика часы — солнце. Встал с солнцем, лёг с солнцем. А это барская забава. Ты лучше продай, а деньги в хозяйство. Лемех новый нужен, хомут на Гнедка. Вот это будет подарок.

Он сказал это спокойно, без злости, даже назидательно, как говорят с ребёнком, который принёс домой ненужную вещь. И, может быть, именно это было хуже всего. Если бы отец накричал, швырнул часы на пол, — Степан бы понял. Можно понять гнев. Но нельзя понять, когда то, во что ты вложил полгода жизни, ледяные сходни, барак, голод и всю свою немую, неуклюжую любовь, — когда это просто отодвигают на край стола, рядом с крошками кулича.

— Матвей, — тихо сказала Дарья.

— Что Матвей? Я правду говорю.

Степан встал. Взял коробочку. Вышел.

Никто его не остановил.

Ночью Дарья проснулась и увидела, что лавка, на которой спал старший сын, пуста.

Она нашла его на берегу, у того места, где кончался плетень. Вода уже ушла, и на обнажившемся песке белели выброшенные половодьем коряги, похожие на кости. Степан сидел на одной из них и смотрел на реку. Луна стояла над левым берегом, и по воде к ногам Степана тянулась светлая дорожка, дробясь на мелкой ряби.

Она села рядом. Долго молчала.

— Он тебя любит, — сказала она наконец. — Он только не умеет. Ты у него первый. На первом всегда боишься ошибиться, вот и держишь в строгости. А Алёша — последыш, ему всё можно.

— Алёшку он любит, — сказал Степан, не оборачиваясь. — А я у него работник.

Дарья хотела возразить. Она открыла рот — и закрыла. Она была честная женщина и не умела лгать, даже из жалости. И потом, всю жизнь, она будет помнить эту минуту — как не нашлось у неё слов, когда сын ждал их больше всего.

Степан достал из кармана коробочку. Открыл. Часы тикали. Он подержал их на ладони, и в лунном свете серебро было холодным, как рыбья чешуя.

— Стёпа, не надо, — сказала Дарья. — Отдай мне. Я сберегу.

Он встал, размахнулся и бросил.

Часы блеснули в воздухе и без звука ушли в лунную дорожку. Только на мгновение по воде разошлись круги — и тут же сгладились. Волга приняла их, как принимала всё: коз и коров, калитки, мёртвых и живых, детские кораблики и чужие слёзы. Приняла и понесла вниз, к Каспию, туда, где кончаются все реки.

Степан постоял, глядя на воду. Потом повернулся и пошёл к дому, не оглядываясь.

Дарья осталась одна. Она сидела на коряге до тех пор, пока луна не ушла за ветлы, и думала не о часах и даже не о сыне. Она думала о том, как днём, на меже, Пётр Шумилин сказал: «Пока своя». И как он на неё посмотрел.

Она знала этот взгляд. Она помнила его с шестнадцати лет — с того вечера на Троицу, когда Петька-гармонист ждал её у оврага, а она не пришла, потому что накануне к отцу пришли сваты от Кольцовых.

Двадцать лет она думала, что он забыл. Теперь поняла: не забыл. Такие не забывают. Они только ждут.

До того февральского утра, когда Пётр Шумилин снова придёт к их воротам — уже не один, — оставалось девять месяцев.

Глава 2. Шумилины

I

Пётр Шумилин жил в той же избе, в которой родился.

Она стояла на нижнем порядке, третья от реки, вросшая в землю по самые окна, с соломенной крышей, которую он каждую осень собирался перекрыть и каждую осень откладывал. После двадцатого года, когда в селе стали делить реквизированное, ему предлагали дом мельника Сапожникова — кирпичный, о шести комнатах, с голландскими печами и балконом на Волгу. Он отказался. Дом отдали под школу, и Пётр был этим доволен так, как бывал доволен немногим.

— Председатель сельсовета должен жить так, как живёт народ, — сказал он тогда на сходе. — А не так, как жили те, кого мы скинули.

Некоторые смеялись. Другие поверили. Анисья, его жена, не смеялась и не верила: она просто знала, что муж её никогда не войдёт в чужой богатый дом, потому что всю жизнь простоял под окнами таких домов, и в этом стоянии под окнами была вся его гордость и вся его рана.

Летом двадцать девятого года ему было сорок лет. Вставал он затемно, раньше всех на порядке, умывался из бочки у крыльца, фыркая и отплёвываясь, потом садился к столу у окна и читал. Читал он всё, что приходило из Вольска: газеты, брошюры, циркуляры, решения пленумов. Читал медленно, шевеля губами, водя пальцем по строкам, потому что грамоте выучился поздно — в германском плену, в лагере под Касселем, у латыша-печатника, который учил его по листовкам и Евангелию, другой бумаги в бараке не было.

От латыша он узнал, что Бога нет. От Евангелия — что последние станут первыми. Обе истины он принял одинаково горячо и никогда не замечал между ними противоречия.

В плену он пробыл три года. Вернулся в восемнадцатом, худой, как жердь, с застуженными лёгкими и с новыми словами — «пролетариат», «эксплуатация», «классовый враг», — которые произносил так, как другие произносят молитву. Потом ушёл к красным. Воевал под Уральском, был ранен в плечо, получил именные часы от командира дивизии — часы потом украли в госпитале, и Пётр жалел о них больше, чем о плече. В двадцатом вернулся в Вознесенку насовсем. Его выбрали в сельсовет, потому что он был свой, бедняк, фронтовик и грамотный. Через год он стал председателем и с тех пор оставался им.

Гармонь его лежала в сундуке под лавкой. Он не доставал её одиннадцать лет.

Анисья была некрасива, и она это знала.

В детстве она переболела оспой, и лицо её осталось в мелких рябинах, будто по нему однажды прошёлся дождь и навсегда застыл. Она была крепкая, широкая в кости, с большими красными руками прачки, и никто из парней никогда не провожал её с посиделок. Её ни разу не сватали, и в селе считали, что уже не посватают. А осенью тринадцатого года Пётр Шумилин, первый на селе гармонист, сам пришёл к её отцу, сел на лавку и сказал: «Отдай Анисью за меня».

Отец удивился так, что перекрестился. Анисья, подслушивавшая за печью, не удивилась. Она поняла сразу и без слов, как понимают такие вещи женщины, которых никогда не любили: ему было всё равно, на ком жениться. Та, на которой ему было не всё равно, уже четыре года жила в доме под железной крышей и родила двоих сыновей.

Она пошла за него. Не из благодарности и не из страха остаться в девках. Она пошла, потому что увидела в нём то, чего не видели другие, — что этот весёлый, бесшабашный гар-

монист, который пел громче всех и смеялся злее всех, на самом деле был ранен — глубоко и незаметно, как ранят ножом под рёбра в праздничной толкотне. И она решила, что вылечит его. Ей казалось, что любовь — это работа, такая же, как стирка или жатва, и если работать долго и честно, то будет урожай.

Урожая не было — ни до войны, ни после. Война и плен только затянули рану жёстким рубцом, под который уже нельзя было добраться. Но Анисья не жаловалась. Она родила ему двух дочерей, держала избу в чистоте, кормила, обстирывала, ходила за ним, когда у него открывались лёгкие, и молчала. Молчать она умела лучше всего на свете.

Старшей, Ксении, было пятнадцать. Она удалась не в мать и не в отца, а неизвестно в кого: высокая, тонкая в поясе, с тяжёлой русой косой ниже пояса и тёмными, почти чёрными глазами, в которых всё время что-то вспыхивало и гасло, как огонь в лампе на ветру. Пела она так, что бабы на покосе бросали грабли и слушали. В селе говорили: «У Петьки-гармониста дочка — вся в него, когда он ещё человеком был».

Младшей, Лиде, было четыре.

Она была маленькая, большеголовая, с белыми, почти прозрачными волосами и такими большими серыми глазами, что её звали Лидкой-глазастой. Она говорила мало, а смотрела много. Её можно было посадить в угол, и она часами сидела там, глядя, как мать месит тесто, как отец читает, как сестра заплетает косу перед осколком зеркала, — и никто не знал, что она при этом думает.

Из всего того лета Лида запомнит немногое. Запах горячего хлеба. Сестрину косу, которую ей позволяли держать, пока Ксения умывалась. Отцовскую шинель на гвозде, от которой пахло табаком и дождём. И ещё один вечер — тот, о котором речь впереди, — но его она запомнит не глазами, а как-то иначе, всем телом, как запоминают ожог.

II

Уполномоченный из Вольска приехал в середине июля, в самую жару.

Его звали Гурьянов. Он был молод — лет двадцати восьми, не больше, — гладко выбрит, в кожаной фуражке и в сапогах, начищенных так, что в них отражалось небо. Приехал он на двуколке райкома, с кучером и портфелем, и первое, что сделал, войдя в сельсовет, — открыл настежь окна и поморщился.

— Духота у вас, товарищ Шумилин. И мухи.

— Деревня, — сказал Пётр.

— Вот именно. — Гурьянов сел за стол, на председательское место, будто так и полагалось, и раскрыл портфель. — Деревня. А партия, между прочим, поставила задачу кончать с деревней. В том виде, в каком она есть.

Он говорил быстро, гладко, как по писаному, и Пётр, который сам всю жизнь говорил словами из газет, вдруг почувствовал странную неловкость, будто слушал собственный голос, записанный на граммофонную пластинку и пущенный слишком быстро.

Гурьянов говорил о хлебозаготовках. О том, что план по району не выполнен и на треть. О том, что кулак прячет хлеб, гноит его в ямах, лишь бы не сдать государству, и тем самым душит рабочий класс. О том, что пришло время твёрдых заданий: каждому кулацкому хозяйству — своё задание по сдаче хлеба, а не сдаст — статья сто седьмая, конфискация и суд. И о том, что к осени в Вознесенке должен быть колхоз. Не товарищество по совместной обработке земли, как сейчас, на девять бедняцких дворов, а настоящий колхоз, с обобществлением скота и инвентаря.

— А для этого, — Гурьянов вынул из портфеля чистый лист и положил перед Петром, — нужен список. Кулаки и подкулачники. Кто держит батраков, кто сдаёт в наём машины, кто торгует. Список к пятнице.

Пётр смотрел на лист. Лист был белый, хорошей бумаги, с водяными знаками. Такой бумаги в Вознесенке не было ни у кого.

— Кулаков у нас — три двора, — сказал он. — Сапожниковых нет, мельница наша. Остались Гребенщиков, Лычагин и Кольцов.

Он произнёс последнюю фамилию ровно, так же, как две первые. Но что-то в его голосе всё-таки дрогнуло — Гурьянов поднял глаза.

— Кольцов. Это у которого железная крыша?

— Он.

— Батраков держит?

Пётр помолчал. Матвей Кольцов батраков не держал. Он с сыновьями управлялся сам, а на молотьбу, как все в Вознесенке, нанимал немцев из Розенталя — на неделю, за хлеб. И молотилку свою, бывало, давал соседям — тоже за хлеб, за десятую меру. По закону это называлось «эксплуатация наёмного труда» и «сдача в наём сложных сельскохозяйственных машин». По совести — Пётр знал, — это было то же самое, что делал каждый крепкий хозяин на Волге последние триста лет.

— Сезонно, — сказал он. — На молотьбу. И молотилку сдаёт.

— Значит, кулак, — сказал Гурьянов и что-то записал в свою книжечку. — Пишите, товарищ Шумилин. Пишите всех. Классовая борьба — дело не сентиментальное.

В тот же день, ближе к вечеру, Ксения пошла с девками на Волгу полоскать бельё и взяла с собой Лиду.

Мостки были у Песчаной косы, ниже села, где берег отлого спускался к воде и песок был белый и мелкий, как мука. Девки стояли по колено в воде, подоткнув юбки, били вальками по

мокрому белью, и звонкий хлопающий звук разносился над рекой. Они пели. Пела, конечно, Ксения — остальные подхватывали.

Лида сидела на песке, под ракитой, и строила из песка церковь. У неё никак не получалась колокольня: песок осыпался.

Выше по берегу, у перевёрнутой лодки, возились двое парней. Лида знала их: один был поповский Илюша, длинный, нескладный, в очках с проволочной дужкой, а второй — Алёша Кольцов, тот самый, который весной спас козу у деда Ерофея. Про козу знало всё село, и Лида, когда ей рассказали, долго думала о том, как это — плыть на лодке за козой между затопленных деревьев. Ей казалось, что это самое храброе, что может сделать человек.

Парни докрасили лодку и пошли к воде мыть руки. Ксения увидела их, и песня у неё вдруг оборвалась — на полуслове, на высокой ноте, будто кто-то перехватил ей горло.

Девки засмеялись.

— Ксюха, чего замолкла? Пой давай!

— Голос сел, — сказала Ксения и отвернулась.

Но Лида, у которой глаза были большие и видели многое, видела, что голос у сестры не сел. Видела, как Ксения, отвернувшись, всё равно смотрит — искоса, из-под руки, будто от солнца. И как Алёша Кольцов, умывшись, поднял голову, встретил этот взгляд и вдруг перестал улыбаться — так перестают улыбаться люди, которые внезапно увидели что-то очень важное и боятся спугнуть.

Потом он подошёл к раките. Присел на корточки перед Лидой.

— Это что у тебя? Церковь?

Лида кивнула.

— А колокольни нет.

— Осыпается, — сказала Лида.

— Надо мокрым песком. Смотри.

Он зачерпнул пригоршню мокрого песка у самой воды и, тихонько сжимая, вылепил колокольню — высокую, тонкую, с маленькой луковкой наверху. Потом достал из кармана щепку, отломил кончик и воткнул сверху — крест.

— Вот. Теперь настоящая.

И ещё он достал из кармана маленькую деревянную лошадку — вырезанную ножом, с гривой из насечек и с дырочкой в хвосте. Подул в дырочку — лошадка засвистела.

— Держи. Свистулька. Сам делал.

Лида взяла лошадку обеими руками. Подняла на него глаза. Он улыбался — уже не ей, а куда-то поверх неё, туда, где по колено в воде стояла её сестра.

Эту свистульку Лида сохранит на всю жизнь. Она будет лежать в ящике её стола в 1998 году, рядом с клеёнчатой тетрадью, — облупившаяся, потемневшая, с отбитым ухом. Свистеть она перестанет ещё до войны. Но выбросить её Лида так и не сможет.

Потому что именно в тот вечер, на Песчаной косе, четырёхлетняя девочка впервые в жизни почувствовала то, чему ещё не знала названия, — и с тем же чувством, восемь лет спустя, она назовёт следователю его имя.

III

В четверг ночью Анисья проснулась от света.

На столе горела лампа с привёрнутым фитилём. Пётр сидел к ней спиной, ссутулившись, в одной рубахе, и перед ним лежал тот самый белый лист с водяными знаками. Рядом — чернильница-непроливайка и ручка с обгрызенным концом. Он не писал. Он сидел и смотрел на лист, и плечи его под рубахой были напряжены так, будто он держал на них что-то тяжёлое.

Анисья тихо встала, накинула платок и подошла.

На листе было написано: «Список кулацких и зажиточных хозяйств с. Вознесенка, подлежащих обложению твёрдым заданием по хлебосдаче». И ниже, столбиком, ровным, старательным почерком человека, выучившегося писать в тридцать лет:

«1. Гребенщиков Антон Фомич — 250 пуд.

2. Лычагин Семён Егорович — 200 пуд.

3. Кольцов Матвей Ильич -»

Дальше было пусто. Цифры не было.

— Сколько ему напишешь? — спросила Анисья.

Пётр вздрогнул, но не обернулся.

— Спи.

— Не сплю, Петя. Сколько?

Он долго молчал. Потом сказал, глядя в лист:

— У него двенадцать десятин. Урожай в прошлом году — сам-шесть. Сдал по плану всё, что положено. Если дать по совести — пудов сто пятьдесят. Сдаст. Поскрипит, а сдаст.

— А если не по совести?

Он ничего не ответил. И по этому молчанию Анисья поняла всё.

Твёрдое задание было устроено просто. Хозяйству назначали норму, которую оно не могло выполнить. Не выполнило — значит, кулак прячет хлеб, саботирует, срывает заготовки. Тогда — сто седьмая статья, суд, конфискация имущества. А там, говорили, и до высылки недалеко. Всё зависело от одной цифры. От того, какую цифру поставит рука, которая сейчас лежала на столе рядом с ручкой — неподвижная, тяжёлая, с вздутыми синими жилами.

— Ты из-за неё, — сказала Анисья.

Она сказала это тихо, без упрёка, почти ласково, как говорят больному о его болезни. Но Пётр повернулся к ней так резко, что лампа на столе мигнула.

— Замолчи.

— Не замолчу. Шестнадцать лет молчала, а сейчас не замолчу. Ты ему простить не можешь. Не ему — ей. Что она тогда, на Троицу, не пришла.

— Откуда… — Пётр осёкся.

— Откуда знаю? Да вся Вознесенка знала, Петя. Все знали, как ты до света у оврага с гармонью сидел. Девки потом смеялись. Только ты думал, что никто не видел.

Он смотрел на неё, и лицо его в свете привёрнутой лампы было серым, старым и очень усталым.

— Не в ней дело, — сказал он наконец. — Ты не понимаешь. Кольцов — классовый элемент. Он жил на чужом труде. На немецком, на соседском. Это не я придумал. Это история так решила. Я просто…

— Ты просто цифру поставишь, — сказала Анисья. — А история пусть за тебя отвечает.

Она помолчала. Поправила платок на плечах.

— Бог-то есть, Петя. Что бы там твой латыш ни говорил. Он всё видит.

Пётр усмехнулся — криво, одной стороной лица.

— Нет его. А если есть — пусть остановит. Пусть руку мне отведёт. Вот прямо сейчас.

Он взял ручку и обмакнул её в чернильницу.

Анисья не стала ждать, что он напишет. Она повернулась и пошла за занавеску, к постели. Легла лицом к стене. И только тогда, в темноте, впервые за шестнадцать лет замужества, заплакала — беззвучно, не всхлипывая, так, как плачут бабы, у которых за стенкой спят дети.

Лида не спала.

Она лежала на печи, под старым тулупом, и смотрела сквозь щель в занавеске на отца. Она не понимала слов, которые говорили мать и отец, — кроме одного. Слово «она». Мать говорила «она» так, что у Лиды холодело в животе. И ещё мать сказала «Троица» — и Лида вспомнила, как на Троицу они с Ксенией украшали избу берёзовыми ветками, и подумала, что, наверно, на Троицу случилось что-то страшное.

Потом мать ушла за занавеску, а отец остался сидеть. Он долго сидел неподвижно, с ручкой в руке. Потом что-то написал. Посмотрел. Зачеркнул. Снова написал.

Потом встал и, стараясь не скрипеть половицами, подошёл к лавке. Наклонился. Выдвинул из-под неё сундук. Поднял крышку.

Лида увидела, как он достаёт гармонь.

Она никогда не видела её раньше. Гармонь была старая, тёмно-красная, с перламутровыми пуговками и потёртыми мехами, и в свете лампы перламутр переливался, как вода на закате. Отец сел на лавку, положил гармонь на колени, просунул руку под ремень. Пальцы его легли на пуговки — легко, привычно, как ложатся на знакомое лицо.

Но он не заиграл. Он только сидел и держал её на коленях, не растягивая мехи, и пальцы его чуть шевелились на пуговках, будто перебирали беззвучную мелодию, которую слышал только он. Так он просидел, пока не начало светать.

Лида заснула, глядя на него. А утром ни гармони, ни листа на столе уже не было — отец ушёл в сельсовет затемно, как всегда.

Через неделю в Вознесенке узнали цифры. Гребенщикову — двести пятьдесят пудов. Лычагину — двести. Кольцову Матвею Ильичу — четыреста.

Четырёхсот пудов в хозяйстве Кольцовых не было и не могло быть. Это знали все. Это знал Матвей. И это знал Пётр Шумилин, когда ставил цифру на белой бумаге с водяными знаками, — сначала одну, потом зачеркнул её и поставил другую.

Какая цифра стояла там сначала, не узнает никто. Лист потом сгорит вместе со всем сельсоветским архивом — в ту самую августовскую ночь тридцать седьмого года, когда сгорит амбар.

Но Лида, через много лет, будет думать: значит, была минута, когда рука могла написать другое. Значит, Бог всё-таки отводил её. Только отец не дал.

Глава 3. Фогели

I

В Розентале всё стояло на своих местах.

Это было первое, что замечал всякий, кто переходил овраг. В Вознесенке избы лепились как придётся — одна боком к улице, другая задом, третья вкось, будто её ставили впотьмах, — а в Розентале дома стояли ровным строем, фасадами на улицу, все одинаково отступив от дороги на двенадцать шагов. Крыши были высокие, крутые, крытые черепицей. Ставни выкрашены в зелёный или синий цвет, и краску подновляли каждую весну, к Пасхе. Перед каждым домом — палисадник с мальвами, за каждым — сад: яблони, груши, вишни, рядами, как солдаты. Колодцы были с журавлями, и журавли эти скрипели по-немецки — так, во всяком случае, уверяли вознесенские ребятишки.

Колонию основали в 1767 году переселенцы из Гессена, по манифесту императрицы Екатерины. Сто шестьдесят два года спустя их потомки всё ещё говорили на том гессенском наречии, которое в самой Германии уже давно забыли, пели в кирхе хоралы Лютера, пекли по воскресеньям «ривелькухен» — пирог с крошкой — и называли свою улицу не улицей, а «Гассе». Но Волгу они называли «наша Волга», а Германию — «там». И если бы кто-нибудь спросил у Генриха Фогеля, где его родина, он бы удивился вопросу и показал рукой на степь за мельницей.

Генрих Карлович Фогель был мельником и столяром. Мельница — ветряная, голландская, с поворотной шапкой и четырьмя крыльями, — стояла на холме за колонией, и её было видно из Вознесенки так же хорошо, как вознесенскую церковь из Розенталя. Так они и стояли, через овраг, друг против друга: церковь и мельница, крест и крылья.

Ему было сорок четыре года. Высокий, сухой, с вислыми рыжеватыми усами и светлыми, почти бесцветными глазами, он двигался медленно и точно, как человек, который всю жизнь работает с деревом и знает, что поспешность портит работу. Говорил по-русски хорошо, с лёгким горловым призвуком, и любил русские пословицы. Особенно одну: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Он говорил, что русские придумали эту пословицу, а немцы ей следуют.

Жена его, Маргарита, была маленькая, полная, быстрая, с круглым румяным лицом и крепкими руками, от которых всегда пахло тестом или молоком. Она вставала в четыре и ложилась в десять, и между четырьмя и десятью не садилась ни разу, разве что за стол и в кирхе.

Детей у них было двое. Сыну, Карлу, было семнадцать. Дочери, Эльзе, — девять.

В тот сентябрьский вечер, о котором пойдёт речь, Фогели сидели за ужином.

Стол был длинный, дубовый, выскобленный добела. Генрих сидел во главе, Маргарита — по правую руку, дети — по левую. Перед едой Генрих прочитал молитву — коротко, по-немецки, сложив большие узловатые руки. Потом взял нож и нарезал хлеб — от каравая к себе, как резал его отец и отец отца, — и раздал каждому по ломтю.

Ели молча. За столом у Фогелей не разговаривали: еда была делом таким же серьёзным, как работа или молитва.

Но в тот вечер молчание нарушили. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошёл Иоганн — младший брат Генриха, живший на соседней улице. Был он похож на брата, только моложе и беспокойнее, и усы у него были не вислые, а закрученные.

— Mahlzeit, — сказал он и сел на лавку у двери, не снимая шапки.

Генрих отложил нож.

— Сними шапку, Ганс. Ты в доме.

Иоганн снял. Помял в руках.

— Мы уезжаем, — сказал он. — Завтра. В Москву.

Маргарита охнула и прикрыла рот рукой. Карл поднял голову. Эльза перестала жевать.

В ту осень по всем немецким колониям Поволжья пошли слухи. Говорили, что меннониты с Молочных Вод и из Сибири едут в Москву целыми сёлами, продают всё, что можно продать, и требуют, чтобы их выпустили за границу — в Германию, в Канаду, в Америку. Говорили, что под Москвой, в дачных посёлках, собралось уже несколько тысяч человек и что германское посольство за них хлопочет. Говорили, что тех, кто останется, всё равно загонят в колхоз, а кто не пойдёт — того в Сибирь.

— У меня бумага есть, — торопливо говорил Иоганн. — От Шмидта из Покровска. Там адрес, куда ехать. Под Москвой, Перловка. Наши уже там. Генрих, поедем вместе. Дом продашь, мельницу продашь…

— Кому? — спросил Генрих.

Иоганн осёкся.

— Кому я продам мельницу, Ганс? Сельсовету? Он её и так заберёт. — Генрих помолчал. — Нет. Я не поеду.

— Тебя здесь раздавят!

— Может быть. — Генрих снова взял нож и отрезал от каравая ещё ломоть, хотя все уже были сыты. — Наш прадед пришёл сюда, когда здесь была голая степь. Он тут землю пахал, когда киргизы угоняли людей в плен. Его отец в Гессене голодал, а он здесь не голодал. Здесь наши могилы. Здесь мельница, которую мой отец ставил, а я чинил. — Он положил ломоть перед братом. — Это наша земля, Ганс. Hier ist unsere Erde. От своей земли не бегают.

Иоганн смотрел на хлеб. Потом встал, надел шапку и вышел, не сказав ни слова.

Наутро он уехал с женой и тремя детьми на подводе, нагруженной узлами. Доехал до Покровска, оттуда поездом до Москвы. Что было с ним дальше, Фогели узнают только в декабре, из письма, написанного карандашом на обрывке обёрточной бумаги.

Эльза запомнила тот ужин. Она запомнила, как дядя Ганс мял в руках шапку, как отец резал хлеб и как говорил: «От своей земли не бегают». Она вообще помнила всё. У неё была такая память, что пастор Шлейнинг, учивший её играть на фисгармонии в кирхе, говорил: «Эта девочка однажды запомнит что-нибудь такое, о чём остальные захотят забыть». Он говорил это в шутку.

Она была худенькая, остроносая, с тонкими косичками цвета соломы и прямым, недетским взглядом. Она редко смеялась и никогда не плакала при чужих. Когда соседский мальчишка однажды толкнул её в лужу, она поднялась, отряхнулась и ничего не сказала. А через год, на Троицу, когда тот же мальчишка свалился с качелей, ему никто не помог подняться, кроме Эльзы, — она подала ему руку и, когда он встал, сказала: «Теперь мы квиты». Мальчишка не понял, о чём она. Она понимала.

II

Мостик через овраг в тот год так никто и не поставил — ни весной, ни летом. Весной было половодье, летом страда, а потом всем стало не до мостика: в Вознесенке говорили о твёрдых заданиях, в Розентале — о Москве. Ходили в обход, по дальнему броду, где ручей разливался мелко и широко, теряя час на дорогу, которая через мостик занимала пять минут.

В конце сентября, в одно из воскресений, к оврагу пришли трое: Алексей Кольцов, Илья Преображенский и Карл Фогель. Принесли топоры, пилу, моток верёвки и тачку старых досок, которые Карл выпросил у отца из мастерской.

— Никому не надо — значит, нам надо, — сказал Алексей.

Он сказал это весело, но Илья посмотрел на него внимательно, поверх очков. Илья всегда смотрел так, будто слышал в словах больше, чем в них было сказано.

Работали до обеда. Карл, сын столяра, знал своё дело лучше других — он размечал, отпиливал, подгонял доски, и под его руками всё ложилось точно, без зазоров. Алексей таскал и забивал сваи: он был сильнее, чем казался, и бил кувалдой без устали, раздевшись до пояса, блестя мокрой спиной на осеннем солнце. Илья больше мешал, чем помогал: ронял гвозди, путал доски, один раз чуть не свалился в ручей. Но без него, как потом говорил Алексей, мост бы не построили — потому что без Ильи было бы не так весело.

Около полудня по тропинке со стороны Розенталя спустилась Эльза. В руках у неё был глиняный кувшин с водой, завёрнутый в мокрое полотенце, и узелок.

— Мама прислала, — сказала она и, поставив кувшин на камень, развязала узелок. Там был ривелькухен — пирог с крошкой, ещё тёплый.

Они сели на склоне, над недостроенным мостом, и ели пирог, запивая холодной водой. Эльза села чуть в стороне, на корень старой ветлы, нависшей над оврагом, и смотрела на них.

— Карл, — спросил Илья, жуя, — а дядька твой уехал?

— Уехал. — Карл помрачнел. — Отец говорит — дурак. А я думаю — может, и не дурак.

— А ты бы поехал?

Карл помолчал.

— Нет. Я в Покровск хочу. На тракторные курсы. Там, говорят, «Фордзоны» дают. — Он оживился. — Ты представь: один трактор — это тридцать лошадей. Один человек пашет за тридцать! Отец говорит — от машины земля портится. А я говорю: от бедности земля портится.

— Тебе в комсомол надо, — засмеялся Алексей.

— А я и вступлю, — сказал Карл серьёзно. — Немцу тоже можно.

Илья ничего не сказал. Он вытер очки краем рубахи и надел снова.

— У нас дома новость, — сказал Алексей, и голос его стал другим. — Отцу задание дали. Четыреста пудов.

Карл присвистнул.

— У вас же столько нет.

— Нет. — Алексей сорвал травинку, прикусил. — Отец молчит. Стёпка злой ходит, как пёс. Мать ночью плачет. Говорят, если не сдадим — судить будут.

— Кто дал? — спросил Илья, хотя знал.

— Шумилин. — Алексей помолчал. — Я не понимаю, Илюш. Ну за что? Отец никого не грабил. Все знают — он сам горбатится, с нами. А ему — как Гребенщикову, который полсела в кабале держал. Даже больше.

Илья долго смотрел вниз, на ручей.

— Отец мой говорит, — сказал он наконец, — что зло всегда находит себе правило. Само по себе зло стыдится, ему неловко. А как найдёт правило, бумагу, слово красивое — так и

перестаёт стыдиться. Говорит, это самое страшное, что может быть: когда зло делают с чистой совестью.

Эльза слушала. Она слушала всё, и всё запоминала. Она не понимала, кто такой Шумилин и что такое задание, но она поняла, что у Алёши — того весёлого русского, который зимой ходил в мастерскую к отцу и однажды починил ей сломанную куклу, — случилась беда. И что эту беду кто-то сделал нарочно.

К вечеру мост был готов. Узкий, на трёх сваях, с перилами из жердей — но крепкий, Карл постарался. Алексей первым прошёл по нему туда и обратно, подпрыгивая на середине, — мост даже не качнулся.

— Надо имена вырезать, — сказал Илья. — Чтобы помнили, кто строил.

— На доске нельзя, — сказал Карл. — Весной всё равно снесёт.

— Тогда на ветле.

Алексей достал нож. На стволе старой ветлы, той самой, на корне которой сидела Эльза, он вырезал, глубоко, в живую древесину: «АЛЕКСЕЙ». Потом передал нож Илье, и тот, высунув кончик языка, вырезал «ИЛЬЯ» — криво, с завалившейся «Я». Карл вырезал «KARL» латинскими буквами.

— А я? — сказала Эльза.

Они обернулись.

— Я воду носила. И пирог.

Карл хотел засмеяться, но Алексей серьёзно кивнул и протянул ей нож — рукояткой вперёд, как взрослой.

— Режь.

Эльза вырезала «ELSA». Буквы получились маленькие, но глубокие и ровные — она старалась, нажимала изо всех сил, пока не побелели пальцы. Потом вернула нож и отошла.

Ветла стоит на краю оврага и сейчас, когда пишутся эти строки. Мостика давно нет, ручей пересох, Розенталя тоже нет — только фундаменты в бурьяне и мельница без крыльев. А ветла стоит, и на ней, если раздвинуть кору, разросшуюся за семьдесят лет, ещё можно прочитать четыре имени.

Одно из них — того, кто вернётся сюда через шестьдесят девять лет. Не за прощением.

III

Срок сдачи по твёрдому заданию истекал пятнадцатого ноября.

В доме Кольцовых об этом не говорили вслух. Но об этом думали все — с утра до вечера, за работой и за едой, и думы эти стояли в избе, как чад от угарной печи, от которого болит голова, а открыть трубу нельзя. Матвей за месяц постарел больше, чем за пять предыдущих лет. Он перестал спать. По ночам Дарья слышала, как он встаёт, выходит во двор, стоит у амбара и возвращается, не зажигая огня.

В амбаре было двести тридцать пудов. Всё, что осталось после обычной сдачи по плану, после посевного запаса, после того, что нужно было семье и скоту до нового урожая. Если сдать всё — до четырёхсот всё равно не хватит, а семья останется без семян и без хлеба. Если не сдать — суд.

В последнюю неделю октября, вечером, когда Алексей ушёл к Илье, Степан сел напротив отца за стол.

— Батя. Надо делить.

Матвей поднял на него глаза.

— Чего делить?

— Хлеб. — Степан говорил тихо, быстро, глядя отцу прямо в лицо, чего не делал почти никогда. — Сто восемьдесят пудов сдадим. Скажем — всё, больше нету. Пусть ищут. А пятьдесят пудов — семена и на прокорм — спрячем. Не здесь. Здесь найдут, у Шумилина нюх, как у легавой. В Розентале.

— У немцев?

— У Фогеля. Под мельницей у него подпол сухой, я видел, когда жернова чинили. Розенталь — не наш сельсовет. Шумилин туда не сунется, у них своё начальство. А Генрих Карлович не выдаст. Он тебе обязан, ты ему в двадцать первом семенной хлеб давал.

Матвей молчал долго. Потом спросил:

— Сто восемьдесят — это не четыреста. Всё равно судить будут.

— Будут, — сказал Степан. — Только судить будут, а голодать не будем. Хлеб в земле — он вернётся. А если всё сдать — ни хлеба, ни земли. Они ж всё равно заберут, батя. Не в этот год, так в следующий. Не задание, так колхоз. Ты что, не видишь?

Дарья, стоявшая у печи, замерла. Она ждала, что муж сейчас оборвёт сына, скажет, что Кольцовы не воры и прятать своего не станут, что он не будет просить у немца, — она знала его гордость.

Но Матвей долго смотрел на Степана — так, будто видел его впервые, — и сказал:

— Дело говоришь.

Всего два слова. Степан опустил глаза, и Дарья увидела, как у него дрогнули губы. Он ждал этих слов девятнадцать лет.

Хлеб возили две ночи подряд, в самое глухое время, после полуночи.

Степан грузил мешки на телегу, обмотав колёса тряпьём, чтобы не скрипели. Матвей вёл Гнедка под уздцы. Они ехали задами, по-над оврагом, без фонаря, и в ту ночь было новолуние, и темнота стояла такая, что Матвей шёл, нащупывая дорогу ногой.

И только у самого оврага Степан вдруг понял: если бы не мостик, ничего бы не вышло. Телега не прошла бы по дальнему броду ночью, увязла бы в осенней глине. А по новому мосту — узкому, но крепкому — они переехали, ведя Гнедка шагом, и доски даже не скрипнули.

Мост, построенный Алексеем. Степан подумал об этом без благодарности, с какой-то тупой досадой: даже здесь, даже в этом — Алёшка.

Генрих ждал их у мельницы с фонарём, прикрытым мешковиной. Он ничего не спросил. Он только поздоровался с Матвеем за руку, отомкнул дверь, откинул тяжёлую крышку подпола и показал, куда носить.

Когда последний мешок лёг в сухую темноту под жерновами, Генрих закрыл крышку, засыпал её сверху мукой и мусором, придвинул пустой ларь. Потом выпрямился и вытер руки о фартук.

— Спасибо тебе, Генрих Карлович, — сказал Матвей. Голос у него был хриплый. — Я этого не забуду.

Генрих покачал головой.

— Не надо помнить, Матвей Ильич. В двадцать первом ты мне дал — сегодня я тебе. Так Бог велел. — Он помолчал, глядя на фонарь. — И ещё я скажу. Если они придут к тебе, они придут и ко мне. Не в этом году, так в другом. Сегодня ты кулак, завтра я немец. Для них разницы нет. Нам надо держаться друг за друга. Через овраг.

Они пожали друг другу руки ещё раз, и Кольцовы уехали.

В мельнице было маленькое окно под самой крышей — круглое, как глаз. И в эту ночь, и в предыдущую в этом окне, если бы кто-нибудь догадался поднять голову, можно было увидеть бледное пятно детского лица.

Эльза не спала. Она слышала, как отец выходил из дома, и пошла следом, босиком, по холодной траве, и залезла по лесенке на чердак мельницы, где летом сушили травы. Оттуда, сквозь круглое окно, она видела всё: телегу без огня, двух мужчин, носивших мешки, отца с прикрытым фонарём.

Она считала мешки. Не потому, что ей кто-то велел, — просто она всегда всё считала. Ступеньки на крыльце кирхи. Яблони в саду. Удары колокола в Вознесенке, которые доносились через овраг по воскресеньям.

Мешков было двадцать два. Одиннадцать в первую ночь, одиннадцать во вторую.

Она узнала обоих мужчин. Старшего — отца Алёши, сурового бородатого Кольцова, который иногда приходил к отцу и пил с ним чай, не снимая тулупа. И младшего — того высокого, темнолицего, с бровями, сросшимися над переносицей. Она не знала, как его зовут. Только знала, что он брат Алёши и что Алёша никогда о нём не рассказывает.

Пятнадцатого ноября Матвей Кольцов сдал на ссыпной пункт сто восемьдесят пудов зерна и сказал уполномоченному, что больше нет. Ему не поверили. Двадцатого ноября в доме Кольцовых был обыск — перекопали двор, вскрыли пол в амбаре, простукали стены, слазили в колодец. Ничего не нашли. Матвея вызвали в Вольск, в народный суд, и приговорили по сто седьмой статье к штрафу в пятикратном размере невыполненного задания. Платить штраф было нечем. Суд описал молотилку, одну лошадь и корову с тёлкой.

Пётр Шумилин на суде не присутствовал. Он сказался больным.

В середине декабря в Розенталь пришло письмо — на обрывке обёрточной бумаги, карандашом, без обратного адреса. Писал Иоганн. Из Москвы их никуда не выпустили. В конце ноября всех, кто стоял лагерем в Перловке, ночью погрузили в товарные вагоны и повезли обратно — только не на Волгу, а дальше, на север. Где они теперь, Иоганн не знал. Писал, что холодно и что младшая, Гретхен, кашляет. Последняя строчка была подчёркнута дважды: «Генрих, ты был прав. Держись за свою землю».

Генрих прочитал письмо вслух, за ужином. Потом сжёг его в печке и долго молча смотрел в огонь.

Эльза сидела рядом и тоже смотрела в огонь. Она думала о дяде Гансе, о кашляющей Гретхен, о двадцати двух мешках под жерновами. Она не понимала, как связаны эти вещи. Но она чувствовала, что связаны.

Двадцать два мешка. Через одиннадцать лет она напомнит о них одному человеку. И он сделает вид, что не помнит.

Глава 4. Преображенские

I

Поповская усадьба стояла на круче, в двадцати шагах от церковной ограды, и из её окон была видна вся Волга — от излучины до излучины, вёрст на пятнадцать.

Дом был старый, деревянный, на каменном фундаменте, с мезонином и застеклённой верандой, которую отец Иоанн сам пристроил в девятисотом году, когда получил приход. Веранда выходила прямо на реку. Летом он пил там чай, а зимой ставил на подоконник герань и смотрел сквозь неё на заснеженный лёд, на дымки левобережных сёл, на санный путь, бегущий по Волге, как нитка по белому полотну. Он говорил, что этот вид — единственное богатство, которое у него никто не отнимет, потому что его нельзя ни описать, ни конфисковать.

Он ошибался. Но об этом позже.

Отцу Иоанну Преображенскому шёл пятидесятый год. Он был высокий, грузный, с широкой седой бородой, лежавшей на груди, как снежный сугроб, и с удивительно молодыми, весёлыми карими глазами. Сын дьячка из-под Камышина, он окончил Саратовскую семинарию первым учеником, мог бы пойти в академию, стать учёным богословом, преподавателем, а то и архиереем. Но он попросился в сельский приход. Ректор семинарии, удивлённый, спросил почему. «Потому что Христос ходил по деревням, ваше высокопреподобие, — ответил двадцатилетний Иван Преображенский. — А в академию не ходил».

В Вознесенке он служил двадцать девять лет. Он крестил половину села, венчал другую половину и отпевал родителей обеих. Он знал каждого — кто пьёт, кто бьёт жену, у кого корова отелилась, кто с кем в ссоре и почему. Он не был святым и не притворялся. Он любил наваристую уху и крепкий чай с вишнёвым вареньем, ловил сомов с лодки, громко смеялся, курил тайком от жены и однажды, в молодости, подрался на ярмарке с конокрадом, обижавшим старуху, — и победил. Архиерей потом наложил на него епитимью. Отец Иоанн выполнил её смиренно и сказал, что сделал бы то же самое ещё раз.

Жена его, матушка Анна Сергеевна, была тихая, хрупкая, болезненная женщина, дочь саратовского учителя музыки. Из пятерых детей, которых она родила, выжил один — Илья, последний. Остальные умерли во младенчестве: двое от скарлатины, один от дифтерита, ещё один не прожил и дня. Их маленькие могилки лежали у алтарной стены, под одной оградкой, и матушка каждый день носила туда цветы, а зимой — еловые ветки.

Илья родился в двенадцатом году, слабым, и тоже должен был умереть. Он не умер. Мать считала это чудом. Отец — тоже, но никогда об этом не говорил, чтобы не сглазить.

В семнадцать лет Илья был длинный, как жердь, тощий, сутулый, с огромными руками и ногами, которые всё время мешали ему, и с близорукими глазами за круглыми очками в проволочной оправе. Он ронял всё, что держал, спотыкался на ровном месте и краснел, когда к нему обращались девушки. Но когда он читал в церкви Апостол — низким, неожиданно сильным голосом, — даже старухи переставали шептаться. А когда он говорил о том, что прочитал, — о Достоевском, о Паскале, о древних отцах, книги которых лежали у отца в кабинете, — его слушали и взрослые мужики, не понимая половины слов, но чувствуя, что этот нескладный поповский сын знает что-то, чего не знают они.

Он собирался поступать в духовную семинарию. Но семинарии закрыли ещё в восемнадцатом. Он собирался поступать в университет. Но детям «служителей культа» в университет путь был закрыт. Он остался в Вознесенке — помогал отцу в храме, читал, ловил с Алёшкой Кольцовым рыбу, учил грамоте деревенских ребятишек, которые прибегали к нему тайком от родителей-комсомольцев. И ждал — сам не зная чего.

В первых числах декабря, в метель, к поповскому дому подъехали сани. Из саней вылез Пётр Шумилин.

Отец Иоанн встретил его на крыльце, в подряснике, накинув на плечи тулуп. Метель била в лицо, снег налипал на бороду.

— Входи, Пётр Савельич. Не на ветру же.

Шумилин помедлил — и вошёл.

Он сел на краешек стула в кабинете, не снимая шинели, положив шапку на колени. Он не был в этом доме с двадцатого года. До этого бывал часто — мальчишкой прислуживал в алтаре, потом, уже парнем, приходил к отцу Иоанну за книгами. Отец Иоанн венчал его с Анисьей осенью тринадцатого года и крестил Ксению. В шестнадцатом служил молебен о его здравии, когда пришла весть, что Пётр в плену. А в двадцатом Пётр Шумилин, вернувшись, первым делом пришёл в сельсовет и потребовал описать церковное имущество.

— Чаю? — спросил отец Иоанн.

— Не надо. — Пётр достал из-за пазухи бумагу. — Я по делу, гражданин Преображенский.

Отец Иоанн чуть заметно улыбнулся на «гражданина», но ничего не сказал.

— Вот. Решение райисполкома. Вам как лишенцу назначен сельхозналог в повышенном размере и самообложение. Срок уплаты — до первого января. — Пётр положил бумагу на стол. — И ещё. Поступило заявление от группы граждан о закрытии храма и передаче здания под клуб. Будет сход.

Отец Иоанн взял бумагу, надел очки, прочитал. Сумма была такая, что за неё можно было купить три дома. Он аккуратно сложил бумагу и положил на край стола.

— Группа граждан — это сколько?

— Двенадцать подписей.

— А в селе семьсот душ.

— Сход решит.

— Сход решит так, как ты скажешь, Петя, — мягко сказал отец Иоанн. — Мы оба это знаем.

Пётр вспыхнул.

— Я вам не Петя.

— Прости. Привычка. Я тебя этим именем крестил. — Отец Иоанн снял очки, потёр переносицу. — Скажи мне одну вещь, Пётр Савельич. Не как председатель — как человек. Ты ведь Евангелие читал. В плену, ты сам мне рассказывал, помнишь, в письме? Писал: «Батюшка, читаю Евангелие, другой книги нет, и плачу».

Пётр молчал. Желваки ходили на его впалых щеках.

— Помнишь, что там сказано? «Блаженны нищие духом». «Последние станут первыми». «Что вы сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне». Ты ведь из-за этих слов в революцию пошёл, Петя. Не из-за Маркса, которого ты и не читал толком. Из-за этих слов. Чтобы последние стали первыми. Чтобы голодных накормить.

— Ну и что? — хрипло сказал Пётр. — Ну пошёл. И сделали. Ваш Христос две тысячи лет обещал, а мы за десять лет сделали.

— Сделали, — кивнул отец Иоанн. — Последние стали первыми. А первые — последними. Только знаешь, что я замечаю? Последние, став первыми, почему-то сразу начинают делать с другими то же, что когда-то делали с ними. Получается не царство Божие, а просто колесо. Кто был внизу — наверху, кто наверху — внизу. А колесо всё крутится и давит.

— Это поповская демагогия.

— Может быть. — Отец Иоанн пожал плечами. — А может, просто старый человек много видел. Христос, Петя, сказал не «последние станут первыми и отомстят». Он сказал «любите

врагов ваших». Вот это у вас никак не выходит. Накормить — выходит. Отнять — выходит. А полюбить врага — нет. А без этого, Петя, — без этого всё остальное не держится.

Пётр встал. Надел шапку.

— Налог до первого января, гражданин Преображенский. Сход — в воскресенье после Рождества.

Он пошёл к двери. Уже взявшись за ручку, обернулся.

— Вы меня не учите, батюшка. — Он впервые сказал «батюшка» и, кажется, сам этого не заметил. — Я знаю, что делаю.

Отец Иоанн посмотрел на него долгим взглядом — без гнева, с какой-то усталой жалостью.

— Нет, Петя, — сказал он тихо. — Не знаешь. Если бы знал — не пришёл бы сам. Прислал бы кого-нибудь.

Дверь хлопнула. Метель ворвалась в сени, закружила снег по половицам — и стихла.

II

За две недели до Рождества, в Неделю святых праотец, церковь Вознесения была полна, как давно уже не бывала.

Люди знали про налог. Знали про двенадцать подписей и про сход после Рождества. В селе об этом говорили шёпотом, но говорили все, и в то воскресенье пришли даже те, кто не был в храме по году и больше: пришли, как приходят проститься с больным, о котором известно, что он не доживёт до весны.

Кольцовы стояли справа, у иконы Николая Угодника, где стояли всегда. Матвей — впереди, прямой, в новом полушубке, который Дарья перешила из старого тулупа, потому что новых покупать было уже не на что. Дарья — за ним, в тёмном платке. Степан — позади всех, у колонны, с лицом, на котором было написано, что он пришёл не по своей воле. Дарья упросила его. Она сказала: «Последний раз, может, Стёпа. Сходи с матерью». И он пошёл.

Алексей стоял на клиросе, среди певчих. Голос у него был небольшой, но чистый, и отец Иоанн взял его в хор ещё мальчишкой. Рядом с ним, в первом ряду, стояла Ксения Шумилина.

Про это в селе тоже говорили. Дочь председателя сельсовета, который подписывал бумаги о закрытии церкви, пела в церковном хоре. Пётр запрещал. Кричал, грозился выгнать из дома. Ксения выслушивала молча, а в воскресенье снова шла на клирос. Анисья её не останавливала. Она давала дочери чистый платок и провожала до калитки, а потом стояла у калитки и смотрела ей вслед, пока та не скрывалась за поворотом.

Илья вышел на середину храма читать Апостол. Он стоял, длинный и нескладный, в стихаре, который был ему короток, держал книгу близко к очкам — и голос его, низкий, сильный, наполнил церковь до самого купола:

— «…где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос».

В задних рядах, у самого входа, стояли несколько немцев из Розенталя — они иногда приходили к православным на большие праздники, когда в кирхе не было службы. Генрих Фогель, услышав эти слова, чуть наклонил голову.

После Евангелия отец Иоанн вышел на амвон.

Он постоял молча, оглядывая людей, — долго, будто запоминал каждое лицо. Потом заговорил. Голос у него был негромкий, но в тишине храма его было слышно до последнего ряда.

— Сегодня, братья и сестры, Церковь вспоминает праотцев — тех, кто жил до Христа и ждал Его. Адама и Еву. Ноя. Авраама. И первого из праведников — Авеля, убитого братом своим.

Он помолчал.

— Вы все знаете эту историю. Было у Адама два сына. Старший, Каин, возделывал землю. Младший, Авель, пас овец. И принесли они оба дары Господу. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел.

В храме было тихо. Только потрескивали свечи.

— Сколько раз я сам думал: почему? Почему Бог отверг дар Каина? Разве Каин плохо трудился? Он пахал землю, в поте лица, как было заповедано его отцу. Он принёс от плодов своих — от того, что вырастил своими руками. Чем его дар был хуже?

Степан у колонны поднял голову.

— Писание не говорит, — продолжал отец Иоанн. — Святые отцы спорят. Одни говорят: Каин принёс худшее, а лучшее оставил себе. Другие — что дело было не в даре, а в сердце. Что Каин принёс дар не от любви, а от расчёта: я тебе — ты мне. Я не знаю, братья, кто прав.

Но я знаю другое. Я знаю, что было дальше. И вот это — самое главное во всей истории, хотя об этом редко говорят.

Он наклонился вперёд, опершись руками на край амвона.

— Каин огорчился. Очень огорчился, и поникло лицо его. И тогда Бог — тот самый Бог, который не принял его дар, — пришёл к нему. Сам пришёл, понимаете? Не к Авелю, которого любил, — к Каину. И заговорил с ним. Вот что сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Он выпрямился.

— «Но ты господствуй над ним». Братья, вдумайтесь. Авелю Господь не сказал ни слова. Во всём Писании нет ни одного слова, которое Бог сказал бы Авелю. А Каину — сказал. Отверг его дар — и тут же пришёл к нему, и говорил с ним, как отец с сыном. Сказал: «Я вижу, что ты огорчён. Я вижу, что грех стоит у твоей двери и скребётся, как зверь. Но ты сильнее его. Ты можешь господствовать над ним. Ты можешь». Бог поверил в Каина больше, чем Каин сам в себя верил.

Кто-то в толпе вздохнул.

— А Каин не поверил. Он пошёл в поле и убил брата. Не потому, что был обречён. Не потому, что так было написано на роду. А потому, что выбрал. Ему дали выбор — и он выбрал. И вот это, братья, — страшнее всего и милосерднее всего, что есть в Писании. Человек не обречён. Никто из нас не обречён на свой грех — ни на зависть, ни на ненависть, ни на месть. Грех лежит у дверей каждого. Но каждый может господствовать над ним.

Отец Иоанн замолчал. Обвёл взглядом храм. Взгляд его на мгновение задержался справа, у иконы Николая Угодника.

— И ещё одно. Об этом тоже не говорят. Где был Адам, когда его сыновья приносили дары? Где был отец, когда старший сын огорчился и лицо его поникло? Писание молчит об Адаме. Будто его там не было. А ведь отец должен был быть рядом. Должен был подойти к старшему, положить руку ему на плечо и сказать: «Сын, я вижу твой труд. Я вижу, как ты пахал». Но Адам молчал. И Бог пришёл вместо него.

Матвей Кольцов стоял неподвижно, и только пальцы его, сжимавшие шапку, медленно побелели.

— Отцы, — сказал отец Иоанн тихо, — смотрите на своих старших сыновей. Зависть не рождается из ничего. Она рождается из неувиденной любви. Из труда, которого никто не заметил. Из дара, который отодвинули на край стола…

В этот момент у колонны что-то стукнуло.

Степан Кольцов шёл к выходу — быстро, не глядя по сторонам, расталкивая людей плечом. Толпа расступалась перед ним. Он дошёл до двери, рванул её на себя — тяжёлую, дубовую, окованную железом, — и в храм ворвался морозный воздух, и пламя свечей разом легло набок. Дверь захлопнулась с таким грохотом, что с карниза над входом посыпалась штукатурка.

В церкви стало очень тихо.

Матвей не обернулся. Он стоял, глядя прямо перед собой, на амвон, и лицо его было серым, как зимнее небо. Дарья закрыла глаза. На клиросе Алексей растерянно посмотрел на Ксению, а Ксения смотрела на дверь — долго, задумчиво, и в её тёмных глазах было что-то, чего Алексей не понял.

Отец Иоанн помолчал. Потом перекрестился и сказал совсем просто, по-домашнему:

— Ну вот. Не я ему это сказал. Господь сказал. Аминь.

И сошёл с амвона.

III

Илья нашёл его на самом краю кручи, за церковной оградой, там, где обрыв уходил вниз отвесно, саженей на тридцать, к заснеженному льду.

Степан стоял спиной к нему, без шапки, засунув руки в карманы, и смотрел на Волгу. Ветер трепал его тёмные волосы. Внизу, на льду, чернела цепочка прорубей, и над ними, как дым, курился пар.

Илья подошёл и встал рядом. Он запыхался — бежал от самой паперти прямо в стихаре, накинув поверх отцовский тулуп, и очки у него запотели. Он снял их, протёр пальцем, надел снова. Степан не обернулся.

— Чего пришёл? — спросил он наконец. — Тоже проповедовать?

— Нет. — Илья помолчал. — Просто. Ты ушёл, я и пошёл.

— Батюшка послал?

— Нет. Он ещё служит.

Степан усмехнулся — нехорошо, одной стороной рта.

— Ловко он, твой батюшка. При всём селе. «Отцы, смотрите на старших сыновей». Теперь вся Вознесенка будет пальцем показывать: вон Кольцов-Каин идёт.

— Он не про тебя говорил.

— Да? — Степан резко повернулся к нему. Лицо у него было бледное, глаза горели. — А дар на краю стола — это про кого? Это он откуда взял? Про часы — откуда он знает? Это ж никто не знал, только свои! Мать, отец да…

Он осёкся. Илья видел, как в его глазах медленно проступает догадка — злая, тяжёлая, как вода, просачивающаяся сквозь лёд.

— Алёшка, — сказал Степан. — Алёшка натрепал. Тебе, а ты — отцу.

— Нет, — сказал Илья. — Алёша мне ничего не говорил. Я про часы в первый раз слышу.

Это была правда. Но Илья видел, что Степан ему не верит. И ещё он знал — не знал, а догадывался, потому что был сыном священника и понимал, как это бывает, — откуда отец мог узнать. Дарья Тимофеевна исповедовалась перед Рождественским постом. Отец никогда не выдавал тайны исповеди — ни словом, ни намёком. Но он мог не удержаться и сказать то, что лежало у него на сердце, — не называя имён, просто сказать, что дар отодвинули на край стола, — не подумав, что человек, о котором это, стоит в храме и слышит.

Илья не мог сказать этого Степану. Не имел права. И он промолчал.

И это молчание потом, много лет спустя, он будет вспоминать как первый свой грех, о котором никогда не скажет на исповеди, потому что не будет знать, в чём именно каяться: в том, что промолчал, или в том, что не нашёл способа сказать.

Они долго стояли молча. Ветер стих, и снег пошёл крупными хлопьями, медленно, отвесно, засыпая следы.

— Знаешь, что он ещё сказал? — проговорил Илья. — Ты не дослушал. Что Бог к Каину пришёл. Не к Авелю, к Каину. Авелю ни слова не сказал за всю Библию, а Каину — сказал. «Ты можешь господствовать над ним». Он в него поверил, Стёп.

— Ну и где он, твой Бог? — Степан сплюнул вниз, в обрыв. — Ко мне чего-то не пришёл. Ко мне только отец пришёл. С часами на краю стола. «Продай, а деньги в хозяйство».

Илья не ответил. Он стоял, сутулясь, и снег ложился ему на плечи и на очки.

— Тебе легко, — сказал Степан. — Ты Алёшкин друг. Вы оба такие — вас все любят. Вы хорошие. А я…

— Меня не все любят, — сказал Илья. — Меня жалеют. Это другое.

Степан посмотрел на него.

— У мамы до меня четверо было. Все умерли. Я один выжил. И я с детства знаю, что я — чудо. Мама так говорит. Отец не говорит, но думает. Чудо, понимаешь? Не Илья, а чудо. Меня не наказывали никогда. Меня не ругали. На меня смотрят и боятся, что я умру. — Он снял очки и протёр их снова, хотя они не запотели. — Иногда мне хочется, чтобы на меня накричали. Как на всех. Чтобы я был не чудо, а просто человек, который что-то сделал не так.

Степан долго молчал. Потом хмыкнул — уже не зло, а как-то растерянно.

— Чудно ты говоришь, поповский.

— Я знаю.

Степан нагнулся, зачерпнул пригоршню снега, растёр по лицу. Выпрямился.

— Ладно. Иди. Батюшка твой хватится.

Илья пошёл. Через несколько шагов обернулся. Степан снова стоял на краю обрыва, спиной к нему, и снег засыпал его тёмную голову.

— Стёп! — крикнул Илья. — «Ты можешь». Это правда. Я точно знаю.

Степан не ответил.

Вечером, после ужина, отец Иоанн позвал Илью в кабинет. Он сидел у печки, в старом подряснике, и курил — уже не таясь.

— Плохо я сегодня сказал, — проговорил он, не глядя на сына. — Гордыня. Хотел, чтобы Матвей услышал. А услышал не Матвей.

Илья молчал.

— Старый дурак. Тридцать лет проповедую, а всё не научился: слово — оно как камень. Бросишь в одного — попадёшь в другого. — Он затянулся, выпустил дым к потолку. — Ты к нему ходил?

— Ходил.

— И что он?

— Он думает, что это Алёша вам рассказал.

Отец Иоанн закрыл глаза. Долго сидел так. Потом перекрестился.

— Господи, прости меня, грешного, — сказал он тихо. — Значит, я ещё и брата на брата навёл.

Он открыл глаза и посмотрел на сына — долго, внимательно, так, как смотрел на него редко, будто впервые видел не чудо, а взрослого человека.

— Слушай меня, Илья. Храм закроют. Не после Рождества — так через год. Сход я, может быть, ещё отобью: люди пока со мной. Но они найдут другой способ. Налог не заплачу — и меня заберут. Это не страшно. Страшно другое. — Он помолчал. — Когда придут снимать колокол и выносить иконы — икону Вознесения спаси. Ту, что над Царскими вратами. Её ещё прадед Сапожникова из Москвы привёз. Всё остальное — пусть. А её спаси.

— Куда я её дену?

— Не знаю. Бог подскажет. — Отец Иоанн слабо улыбнулся. — Ты же у нас чудо.

И впервые за семнадцать лет Илья услышал в этом слове не страх, а насмешку — ласковую, отцовскую, такую, какой ему всегда не хватало. И засмеялся. И отец засмеялся вместе с ним, и они сидели у печки, в темнеющем кабинете, и смеялись, как два человека, которые понимают, что смеяться им осталось недолго.

А Степан Кольцов в ту ночь долго не мог уснуть. Он лежал на лавке, смотрел в темноту и слушал, как за перегородкой ровно дышит во сне брат.

Алёшка рассказал. Больше некому.

«Ты можешь господствовать над ним», — сказал поповский сын. Степан повторил эти слова про себя — раз, другой. Они были странные, тяжёлые, как чужой плуг, к которому не приноровилась рука.

Господствовать. Над кем? Над грехом? Он не знал никакого греха. Он знал только, что отец любит брата. Что брат — кто же ещё? — выдал его чужим людям. И что поп при всём селе назвал его Каином.

Грех лежит у дверей. Степан лежал и слушал, как он дышит.

Глава 5. Раскулачивание

I

Сход после Рождества отец Иоанн отбил.

Из семисот душ на него пришло четыреста, и, когда Гурьянов, специально приехавший из Вольска, предложил голосовать за закрытие храма, руки подняли тридцать два человека. Остальные стояли молча, глядя в пол, и молчание это было таким тяжёлым и плотным, что Гурьянов, постояв, свернул бумаги и сказал, что вопрос «требует дополнительной разъяснительной работы». Церковь осталась открытой. Налог отцу Иоанну заплатили всем селом — собирали по двору, кто сколько мог, кто деньгами, кто яйцами, кто холстом. Отец Иоанн плакал, принимая эти деньги, и говорил, что недостоин.

Но это была последняя победа старой Вознесенки. Через месяц началось то, о чём потом никто в селе не любил вспоминать.

Тридцатого января в Москве приняли постановление «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В Вознесенке о нём узнали через неделю, когда из Вольска пришёл пакет с сургучной печатью. Пётр Шумилин вскрыл его один, в пустом сельсовете, при свете керосиновой лампы, и читал до утра, шевеля губами.

Постановление делило кулаков на три категории. Первая — «контрреволюционный актив»: арест, лагерь, а то и расстрел. Вторая — «крупные кулаки и бывшие полупомещики»: выселение с семьями в отдалённые районы страны, на Север, в Сибирь, на Урал. Третья — остальные: выселение в пределах района, на худшие земли, за границы колхозных угодий. Имущество всех трёх категорий подлежало конфискации и передаче в колхоз. Списки составляла районная тройка по представлению сельсоветов. Сроки — сжатые. План по району — твёрдый.

Двенадцатого февраля в сельсовете собрались трое. Гурьянов, снова приехавший из Вольска, — теперь уже не уполномоченный по хлебозаготовкам, а член районной тройки. Пётр Шумилин. И Фёдор Рыжов, секретарь вознесенской комсомольской ячейки.

Рыжову было двадцать два года. Он был рыжий — оправдывал фамилию, — веснушчатый, с белёсыми ресницами и мокрыми красными губами. Сын пьяницы и сам пьяница, он до двадцать восьмого года батрачил у Гребенщикова, был бит хозяином за украденную курицу и с тех пор ненавидел всех, у кого было больше одной курицы. В комсомол он вступил первым в селе. Говорил громко, путал слова, но знал наизусть все лозунги и умел вовремя их выкрикнуть. Пётр его не любил. Но Рыжов был свой — бедняк, батрак, активист, — и Пётр терпел его, как терпят собаку, которая кусает чужих.

На столе лежал список. Пётр составил его ещё в ноябре, когда раздавали твёрдые задания, — теперь в нём стояли те же три фамилии. Гребенщиков. Лычагин. Кольцов.

— Гребенщиков — первая категория, — сказал Гурьянов, не поднимая глаз от бумаг. — Держал батраков, ростовщичеством занимался, в двадцать первом прятал хлеб от продразвёрстки. Есть показания, что агитировал против колхоза. Арест.

Пётр кивнул. Гребенщикова не любил никто.

— Лычагин — вторая. Выселение с семьёй. Эшелон в Котлас через две недели.

Пётр снова кивнул.

— Кольцов — вторая.

Пётр поднял голову.

— Кольцов — третья.

Гурьянов медленно оторвался от бумаг.

— Повтори, товарищ Шумилин.

— Третья. — Пётр говорил ровно, глядя прямо перед собой. — Кольцов батраков постоянных не держал. Наёмный труд — сезонный, на молотьбу, как у всех середняков. Твёрдое задание выполнил на сорок пять процентов, штраф по суду уплачен конфискацией. Хлеба при обыске не нашли. Антисоветской агитации не вёл. На сходе за церковь руку не поднимал — я сам видел. По инструкции — третья категория.

— По инструкции, — повторил Гурьянов, и в голосе его зазвенело что-то тонкое, как натянутая проволока. — У меня по району план — двести семей по второй категории. Я пока набрал сто шестьдесят. А ты мне по инструкции.

— План — это ваше дело, товарищ Гурьянов. А я отвечаю за село.

— Кольцов — кулак, — вдруг громко сказал Рыжов. — У него крыша железная! Он нас, бедноту, за людей не считал! Я у него в двадцать шестом на молотьбе стоял — он мне за неделю два пуда дал, а я…

— Ты у него неделю пьяный в овине валялся, — сказал Пётр, не поворачиваясь к нему. — Два пуда он тебе дал из жалости. Молчи.

Рыжов побагровел до корней волос и замолчал.

Гурьянов долго смотрел на Петра. Потом откинулся на спинку стула.

— Странно, Шумилин. Ты же сам ему задание в четыреста пудов вписал. Я помню — четыреста. Самое большое по селу. Значит, считал его злостным. А теперь — третья категория. Мягко стелешь.

Пётр молчал.

— Или у тебя к Кольцовым что-то личное? — Гурьянов прищурился. — Ты смотри. Жалость — это классовая слабость. За жалость, товарищ Шумилин, сейчас партбилеты кладут.

— У меня к ним ничего нет, — сказал Пётр. И сам услышал, как фальшиво это прозвучало.

Наступила тишина. Было слышно, как за окном воет ветер и как трещит фитиль в лампе. Рыжов переводил взгляд с одного на другого. Гурьянов постукивал карандашом по столу.

— Ладно, — сказал он наконец. — Третья. Под твою ответственность. Выселить за пределы колхозных земель, на неудобья. Есть у вас неудобья?

— Солёная балка, — сказал Пётр. — За оврагом, у Розентальской межи. Там солонцы, ничего не растёт. Туда.

— Вот и хорошо. — Гурьянов сделал пометку в списке. — Посмотрим, как твои кулаки на солонцах заживут. А по второй категории я у тебя ещё одну семью возьму. Сам найдёшь кого. Срок — до пятницы.

Он собрал бумаги и вышел. Рыжов вышел следом, напоследок обернувшись на Петра долгим, мутным, нехорошим взглядом.

Пётр остался один. Он сидел за столом, положив тяжёлые руки на список, и смотрел на фамилию «Кольцов», рядом с которой карандашом Гурьянова было выведено: «III».

Он думал о том, что спас их. Что Котлас, Северный край, тайга, бараки, где люди умирают от тифа целыми семьями, — это не для неё. Что она останется здесь, на Волге, в двух верстах от села, и он будет знать, что она жива.

Он не думал о том, что ему теперь надо найти ещё одну семью для эшелона. Он подумает об этом завтра.

И о том, что в ноябре, когда он вписал Кольцову четыреста пудов, Бог отводил ему руку — а он не дал. А теперь он отвёл свою руку сам — и решил, что это одно и то же. Об этом он не подумает никогда.

II

Они пришли пятнадцатого февраля, на рассвете.

Стояла оттепель. Ночью шёл мокрый снег, к утру он раскис, и улица нижнего порядка превратилась в серую кашу, в которой вязли валенки. Небо висело низко, мутное, как вода в половодье. Над Волгой стоял туман.

Пётр шёл впереди. За ним — Рыжов с красной повязкой на рукаве, двое комсомольцев из ячейки, Колька Мохов и Ванька Блинов, оба ещё мальчишки, и милиционер Сухов, присланный из района, — пожилой, усатый, с наганом в кобуре и с таким выражением лица, будто у него болели зубы. Позади тащилась пустая подвода.

У ворот Кольцовых уже стояли люди. Слух прошёл по селу ещё с вечера, и теперь бабы в платках, мужики, ребятишки толпились по обе стороны улицы, молча, на расстоянии, как стоят на пожаре, когда тушить уже поздно.

Ворота были открыты. Матвей стоял посреди двора, без шапки, в старом полушубке. За ним, у крыльца, — Дарья, Степан и Алексей. Они ждали. Они знали.

Пётр остановился в воротах. Достал из планшета бумагу.

— Гражданин Кольцов Матвей Ильич. Решением районной тройки от двенадцатого февраля тысяча девятьсот тридцатого года ваше хозяйство признано кулацким и подлежит ликвидации. Имущество конфискуется в пользу колхоза «Красный пахарь». Вы с семьёй выселяетесь за пределы колхозных земель, на участок в Солёной балке. С собой разрешено взять: одежду, постельные принадлежности, продовольствие из расчёта на два месяца, необходимый инструмент. Одну лошадь, одну подводу.

Он читал ровно, без выражения. Голос его не дрожал. Но бумага в руке дрожала, и все это видели.

Матвей выслушал молча. Потом сказал:

— Читай дальше, Пётр Савельич. Там, поди, ещё написано, за что.

— Там всё написано.

— А ты вслух прочитай. Пусть люди слышат.

Пётр сложил бумагу.

— Приступайте, — сказал он Рыжову.

Опись заняла полдня.

Рыжов ходил по дому, по двору, по амбару и сараям, тыкал пальцем в вещи, а Колька Мохов, высунув язык, записывал в тетрадку. Дом пятистенный, крыша железная — один. Амбар — один. Сарай, баня, овин. Лошадь гнедая, мерин, восьми лет — оставляется владельцу. Плуг, борона, сани, телега. Сундук кованый. Самовар медный, ведёрный. Часы-ходики. Зеркало в раме. Швейная машинка «Зингер». Перина пуховая — две. Подушки — шесть. Иконы в окладах — три.

— Иконы-то вам зачем? — тихо спросила Дарья.

— Оклады серебряные, — сказал Рыжов. — Сдадим в Торгсин. На трактор.

Он снял со стены икону Казанской Божьей Матери, которой благословляли Дарью к венцу, повертел в руках, ногтем поскрёб оклад. Дарья отвернулась.

В сенях, на гвоздях, висели инструменты. Рыжов снял пилу, рубанок, долото. Потом протянул руку к топору — старому дедовскому топору на новом ясеневом топорище с вырезанными буквами «М. И. К. 1929».

— Не трожь, — сказал Матвей.

Он сказал это негромко, но Рыжов отдёрнул руку, будто обжёгся. Потом опомнился, оглянулся на комсомольцев и снова потянулся к топору.

— Это колхозное имущество, гражданин кулак. Ты теперь тут никто.

Матвей шагнул вперёд и взял топор раньше, чем Рыжов успел его коснуться. Просто снял с гвоздя и взял в руку — за топорище, за то самое место, где были вырезаны буквы. И встал так, с топором в опущенной руке, глядя на Рыжова сверху вниз.

В сенях стало очень тихо. Милиционер Сухов, стоявший в дверях, медленно расстегнул кобуру.

— Оставь ему, — сказал Пётр.

Все обернулись. Пётр стоял на пороге, держась рукой за косяк.

— Сказано же: необходимый инструмент. Им землянку рыть. Чем рыть будут — руками? Топор оставить.

Рыжов хотел что-то сказать, но посмотрел на председателя и промолчал. Только сплюнул на пол.

Матвей не поблагодарил. Он повернулся и вышел во двор, держа топор в руке. Алексей, стоявший у крыльца, увидел, что отец держит топорище так бережно, как держат ребёнка.

Дарья подошла к Петру, когда опись была почти закончена. Мужики грузили на колхозную подводу сундук и перины, Рыжов пересчитывал овец, толпа за воротами гудела. Пётр стоял у плетня один, в стороне от всех, и курил.

Она встала рядом. Не близко — на шаг. Смотрела не на него, а на свой дом.

— Петя, — сказала она тихо.

Он вздрогнул. Двадцать один год она не называла его так. С той самой Троицы.

— Петя, детей пожалей. Хоть детей. Им-то за что?

Он долго молчал. Потом, тоже не глядя на неё, сказал:

— Я пожалел, Даша. Лычагиных — в Котлас. Гребенщикова — под арест. А вас — в Солёную балку. Две версты от села. — Он помолчал. — Не на север.

И Дарья поняла. Поняла всё сразу, до конца, и от этого понимания ей стало так страшно, как не было даже утром, когда они пришли. Он пожалел. Это и была его жалость — Солёная балка, солонцы, землянка в мёрзлой земле. Он отнял у них всё, а потом пожалел, оставил в двух верстах, чтобы видеть. И ждал, что она поймёт, как он её пожалел.

— Ты сама выбрала, Даша, — сказал он ещё тише. — Тогда. Сама.

Она повернулась и посмотрела на него. Впервые за всё утро — прямо в лицо. Он не выдержал этого взгляда и отвёл глаза.

— Выбрала, — сказала Дарья. — И сейчас бы выбрала так же. Теперь — тем более.

Она отошла.

Степан стоял у сарая и видел их. Он не слышал слов, но видел, как мать подошла к председателю, как Шумилин вздрогнул, как они говорили — тихо, не глядя друг на друга, как говорят люди, которые давно знают друг друга, слишком давно. И как мать сказала что-то последнее и отошла, а Шумилин остался у плетня и уронил папиросу в грязь.

Степан запомнил это. Он ещё не понимал, что видит. Но запомнил.

Степан сорвался, когда Рыжов взялся за серьги.

Они уже выносили последнее. Дарья стояла у подводы, на которую погрузили то, что им оставили, — узлы с одеждой, мешок муки, котёл, лопату, топор. И Рыжов, проходя мимо, вдруг остановился и посмотрел на её уши. В ушах у Дарьи были серьги — маленькие, золотые, с бирюзой. Матвей подарил их ей в день свадьбы, купив в Астрахани на первые отходные деньги.

— Это тоже, — сказал Рыжов. — Золото сдаётся.

И протянул руку к её лицу.

Степан ударил его раньше, чем кто-нибудь успел понять, что происходит. Ударил с размаху, в скулу, так, что Рыжов отлетел на два шага и сел в грязь. Потом навалился сверху, бил кулаками по лицу, по голове, молча, страшно, и Рыжов визжал, закрываясь руками.

Колька Мохов и Ванька Блинов кинулись оттаскивать. Сухов вытащил наган. Толпа за воротами ахнула и подалась назад.

— Стёпа! — закричала Дарья.

Алексей кинулся к брату, обхватил его сзади, прижал руки к телу, оттащил. Степан рвался, хрипел, мотал головой, но Алексей держал крепко — откуда только сила взялась.

— Стёпа, не надо, — шептал он брату в ухо. — Стёпа, застрелят. Не надо, Стёпа, роднёнький…

Рыжов поднялся из грязи. Лицо у него было разбито, из носа текла кровь, один глаз заплывал. Он выхватил у Сухова наган — Сухов от неожиданности не удержал — и наставил на Степана.

— Убью, гад кулацкий! Убью!

— Рыжов!

Пётр шагнул между ними. Встал прямо перед наганом, спиной к Степану.

— Отдай оружие.

— Он на представителя власти…

— Я — представитель власти. Отдай.

Рыжов стоял, тяжело дыша, с наганом в трясущейся руке. Ствол смотрел Петру в грудь. Все замерли. Даже толпа за воротами не дышала.

Потом Рыжов опустил руку. Сухов забрал у него наган, торопливо сунул в кобуру и выругался вполголоса.

— Серьги пусть останутся, — сказал Пётр. — Это личные вещи. Не подлежат.

Он повернулся к Степану. Алексей всё ещё держал брата. Степан смотрел на Петра в упор — глазами, в которых не было ничего, кроме ненависти, чистой, прозрачной, как спирт.

— Уезжайте, — сказал Пётр. — До темноты чтобы были на месте.

Они уехали около трёх часов дня.

Гнедко тянул подводу по раскисшей дороге. Матвей шёл рядом, держа вожжи. Дарья сидела на узлах. Сыновья шли позади.

Когда они уже выезжали за околицу, от толпы отделилась тонкая фигура в белом платке и побежала за подводой, разбрызгивая грязь. Это была Ксения Шумилина. Она догнала их у последнего плетня, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, и сунула Алексею в руки тёплый узелок.

— Пироги, — выдохнула она. — Мама напекла. Возьмите.

Алексей взял. Посмотрел на неё. Ничего не сказал — не смог. Она стояла перед ним, в грязи по щиколотку, в отцовской старой шали, и глаза у неё были мокрые.

— Ксения! — донеслось с улицы. — Домой! Немедленно домой!

Это кричал отец. Ксения не обернулась.

— Я приду, — сказала она Алексею. Тихо, так, чтобы слышал только он. — Я к вам приду. Вот увидишь.

И побежала обратно.

Степан стоял в двух шагах и видел всё. Видел узелок в руках брата. Видел мокрые глаза Ксении. Слышал «я приду».

Он ничего не сказал. Он просто пошёл дальше за подводой, сунув разбитые кулаки в карманы.

На повороте, там, где дорога уходила вниз к оврагу, Матвей остановил Гнедка и обернулся. Отсюда было видно всё село — три порядка, сбегавшие к Волге, белую церковь на круче,

мельницу Фогеля за оврагом. И свой дом. Железную крышу, крашенную суриком, — единственную на нижнем порядке.

На коньке крыши уже трепыхался красный флаг. Рыжов успел прибить. В доме Кольцовых теперь будет правление колхоза «Красный пахарь».

Матвей смотрел долго. Потом тронул вожжи.

— Но, Гнедко.

И больше не оборачивался.

III

Солёная балка лежала в двух верстах от села, за оврагом, у самой Розентальской межи.

Это была длинная, неглубокая лощина, на дне которой весной стояла вода, а летом проступала белая соль, как иней. Трава там не росла — только полынь, солодка да редкие кусты лоха. Скот туда не гоняли: от солёной воды у коров пучило животы. В Вознесенке говорили, что балка проклята — будто бы при Пугачёве там повесили целую семью, и с тех пор земля плачет солью. Это была неправда. Просто солонцы. Но в тот февральский вечер, когда подвода Кольцовых спустилась в балку, неправда казалась правдой.

Смеркалось. Мокрый снег сменился ледяной крупой, ветер дул с Волги, пробирая насквозь. Матвей остановил Гнедка на склоне, под единственным уцелевшим кустом лоха, и огляделся. Кругом была голая белая степь, и на ней — ни одного огонька.

— Здесь, — сказал он.

Они начали рыть.

Земля промёрзла на пол-аршина. Лопата отскакивала от неё, как от камня. Степан взял лом и долбил, Алексей отгребал. Матвей рубил топором кусты лоха на дрова. Дарья разводила костёр из того, что нарубил муж, — костёр не разгорался, мокрые ветки шипели и дымили.

Они рыли два часа и вырыли яму в колено глубиной. Стемнело совсем.

И тогда со стороны Розенталя, из темноты, послышался скрип колёс.

Приехали трое. Генрих Фогель на своей телеге, Карл рядом с ним, а позади, пешком, держась за борт, — Илья Преображенский, без шапки, с фонарём в руке.

В телеге были доски, жерди, два старых брезентовых полога, железная печка-буржуйка с трубой, мешок угля, лопаты и кирка.

— Ты что, Генрих Карлович, — сказал Матвей. — Тебя ж за это…

— Темно, — сказал Генрих. — Никто не видел. — Он слез с телеги. — Карл, неси кирку. Илья, свети.

Они работали до полуночи. Карл бил киркой, и мёрзлая земля откалывалась пластами. Генрих размечал, Степан с Алексеем рыли. К полуночи яма была в рост человека, длиной в три сажени. Генрих с Карлом положили поперёк жерди, на жерди — доски, на доски — брезент, сверху набросали землю и снег. Внутри поставили буржуйку, вывели трубу. Карл, сын столяра, сколотил из оставшихся досок лавку и дверь.

Когда буржуйка загудела и по землянке пошло первое тепло, Дарья села на лавку и заплакала — впервые за весь этот день. Тихо, закрыв лицо руками.

Генрих постоял, глядя на неё. Потом сказал Матвею:

— Твой хлеб под мельницей. Я буду носить понемногу. По ночам. Пятьдесят пудов — до весны хватит. И на семена.

Матвей взял его руку обеими руками и долго держал. Ничего не сказал. Не смог.

— Ты бы к нам пошёл, — сказал Генрих. — У меня в доме места хватит. Хоть на зиму.

— Нет. — Матвей покачал головой. — Тебя подведу. Если узнают, что ты кулаков пригрел, — тебя тоже сюда. Или куда подальше. Нет, Генрих Карлович. Ты и так… — Он не договорил.

Илья подошёл к Алексею, обнял его — неловко, длинными руками. Сунул ему в карман что-то маленькое.

— Это от отца. Псалтирь. Он сказал — пусть читают.

Потом они уехали. Скрип колёс затих в темноте. Кольцовы остались одни.

Степан не спал.

Отец и мать легли на лавку, укрывшись тулупом, и Матвей сразу провалился в тяжёлый, хриплый сон. Алексей сидел у буржуйки и читал Псалтирь при свете её раскалённого бока. Читал шёпотом, шевеля губами.

— Перестань, — сказал Степан.

Алексей поднял голову.

— Что?

— Бубнить перестань. Спать не даёшь.

Алексей помолчал. Потом закрыл книжку.

— Стёп, ты чего? Ты весь день как… Я ж понимаю, тебе плохо. Мне тоже. Только…

— Тебе плохо? — Степан сел на земляном полу. В красном свете буржуйки его лицо, разбитое, с запёкшейся кровью на скуле, казалось чужим. — Тебе-то? Тебе пироги приносят. Тебе немец доски возит, поп книжки шлёт. Тебя все любят, Алёша. Тебе везде хорошо.

— Стёпа…

— А ещё ты языком хорошо работаешь. — Голос Степана стал тихим и ровным, и от этой ровности Алексею стало холодно. — Про часы попу кто рассказал? А? Чтоб он меня при всём селе Каином назвал? Ты, Алёша. Больше некому.

Алексей смотрел на брата, и на лице у него было такое искреннее, такое детское изумление, что любой другой поверил бы ему сразу.

— Я не рассказывал. Стёп, ей-Богу. Я никому…

— Ей-Богу, — повторил Степан. — Ну-ну.

— Хватит.

Это сказал Матвей. Он не спал. Он лежал на лавке с открытыми глазами и смотрел в брезентовый потолок.

— Хватит, — повторил он. — Мало нам сегодня? Ещё друг друга грызть будете?

Степан повернулся к отцу.

— А ты молчи, батя. Ты сегодня всё отдал. Дом отдал, землю отдал, икону материну отдал. Только топор свой выпросил. И стоял, и молчал. Как телок.

— Степан! — Дарья приподнялась на локте.

— Что Степан? Я правду говорю! — Он почти кричал. — Шумилин нас из дома выгнал, как собак! Рыжов на мать руку поднял! А он — молчал! Я этого не прощу. Слышишь, батя? Я Шумилину этого не прощу. Ни ему, ни…

— Мести не будет, — сказал Матвей.

Он сел на лавке. Медленно, тяжело, как очень старый человек.

— Мести не будет, Степан. Ты меня слышишь? Я тебе запрещаю. Ты Рыжова сегодня ударил — тебя чуть не застрелили. Завтра Шумилина ударишь — застрелят. И нас всех заберут, в Котлас, на смерть. Мать заберут. Ты этого хочешь?

Степан молчал, тяжело дыша.

— Бог рассудит, — сказал Матвей тише. — Не нам судить. Бог всё видит. Шумилину своё воздастся.

— Бог? — Степан засмеялся — коротко, страшно. — Где был твой Бог сегодня, батя? Где он был, когда Рыжов у мамки серьги рвал? Ну? Ты мне скажи — где?

Матвей не ответил.

Степан встал, рванул брезентовую дверь и вышел в ночь.

Крупа кончилась. Небо очистилось, и над балкой стояли звёзды — огромные, колючие, зимние. Было очень тихо и очень холодно.

Степан поднялся на склон, туда, откуда было видно село. Вознесенка лежала внизу, тёмная, без огней — только в одном окне, на нижнем порядке, ещё светилось. Он знал это окно. Третья изба от реки. Изба Шумилиных.

А рядом, чуть выше, темнел силуэт его дома. Железную крышу в темноте не было видно. Красный флаг на коньке — тоже. Но Степан знал, что он там.

Он стоял долго. Потом опустился на колени — прямо в снег — и прижал ладони к мёрзлой солёной земле.

— Слышишь, — сказал он тихо, глядя на освещённое окно. — Ты слышишь, Шумилин. Я тебе это не забуду. Ни дом, ни мать, ни флаг твой. Батя не велит — а я не батя. Я подожду. Я долго ждать умею. А потом пущу тебе красного петуха. Так, что вся Вознесенка увидит.

Он не знал, кому это говорит — Шумилину, себе или той темноте, что лежала вокруг. Он не знал, что поп сказал бы, что это и есть грех, который стоит у двери, и что Степан сейчас открывает ему дверь сам, своими руками.

Он знал только, что ему стало легче. Будто внутри что-то, долго мешавшее дышать, наконец нашло себе место и легло, как зверь в логово, и затихло.

Он вернулся в землянку, лёг у буржуйки и заснул сразу — впервые за много ночей.

В ту же ночь Пётр Шумилин сидел у себя в избе, за столом, перед чистым листом бумаги. Ему надо было найти ещё одну семью для эшелона в Котлас. Срок — до пятницы.

Анисья стояла у печи. Она не спрашивала. Она знала.

Под утро он написал: «Миронов Гаврила Петрович, середняк, хозяйство зажиточное, 2 лошади, 2 коровы. Подкулачник. Вёл агитацию против колхоза».

Гаврила Миронов агитацию против колхоза не вёл. Он только сказал однажды на сходе, что не хочет отдавать в колхоз корову, потому что у него шестеро детей и корова их кормит. Пётр слышал это. Пётр запомнил.

— Мироновы? — тихо спросила Анисья, заглянув ему через плечо. — Петя… у них же шестеро. Младшему год.

— Кого-то надо, — сказал Пётр, не поднимая головы. — План.

— Кольцовых, значит, пожалел. А Мироновых…

Он ничего не ответил.

Анисья постояла, глядя на мужа. Потом сказала — тихо, без злобы, с той страшной ясностью, которая бывает у молчаливых людей, когда они наконец говорят:

— Ты думаешь, ты её спас. А ты просто чужих детей за неё отдал. И она тебе за это спасибо не скажет, Петя. Никогда.

Мироновых погрузили в эшелон двадцать восьмого февраля, на станции в Вольске. Восемь человек: отец, мать, шестеро детей. До Котласа доехали семеро. Младшую, годовалую Нюру, похоронили на каком-то полустанке под Вяткой, в снегу у насыпи, — поезд стоял всего двадцать минут, и могилу копать было некогда.

В Вознесенке об этом узнали только через год. Пётр Шумилин узнал одним из первых. Он прочитал письмо, сложил его вчетверо и положил в нагрудный карман шинели. Там оно и пролежит — до самой его смерти.

Глава 6. Колокол и голод

I

Колокол сняли в октябре тридцать первого года, через неделю после Покрова.

К тому времени церковь уже полгода стояла приговорённой. Весной из Вольска пришла бумага: «по многочисленным просьбам трудящихся» храм в селе Вознесенка подлежал закрытию и передаче под зернохранилище «Заготзерна». Просьбы трудящихся собирал Фёдор Рыжов. Он ходил по дворам с листом и химическим карандашом и говорил коротко: кто не подпишет, тому трудодней не начислят. Колхоз «Красный пахарь» к тому времени вобрал в себя почти всё село, и трудодни были хлебом. Подписали триста шестнадцать человек. Многие — крестом, потому что не умели писать. Те же самые люди год назад стояли на сходе молча, глядя в пол, и не подняли рук.

Пётр Шумилин подписал акт последним, внизу, там, где было напечатано «председатель сельсовета». Подписал, не читая, и сразу отодвинул лист, будто тот был горячий.

Поповский дом отобрали в августе. Его отдали школе — под жильё для учителей, которых обещали прислать из Саратова. Отец Иоанн с матушкой перебрались в бывшую церковную сторожку у кладбищенской ограды: одна комната, печь, окно на могилы. Матушка Анна Сергеевна повесила на окно свои занавески с вышитыми васильками и сказала, что так даже лучше — ближе к детям. Она говорила о четырёх могилках у алтарной стены.

С веранды поповского дома, той самой, с которой открывался вид, который нельзя ни описать, ни конфисковать, теперь сушили бельё чужие люди. Отец Иоанн ни разу туда не посмотрел. Он ходил мимо, опустив голову, и Илья понимал, что отец не смотрит не от обиды. Он просто не хотел увидеть, что ошибся.

Последнюю службу отец Иоанн отслужил на Покров. Народу пришло немного — те, кому уже нечего было терять, старухи да несколько баб с детьми. В середине литургии, когда пели Херувимскую, в дверях появился Рыжов, постоял, послушал, сплюнул на паперть и ушёл. Отец Иоанн не прервал службы. Только голос его, когда он возглашал «Твоя от Твоих», был такой ровный и тихий, что Илья, стоявший на клиросе, испугался за него больше, чем если бы отец закричал.

Ксении на клиросе не было. Пётр в тот день запер её в избе.

В ночь перед тем, как пришли снимать колокол, Илья вошёл в церковь.

Ключ у отца забрали ещё в сентябре, но Илья с детства знал, что в северном окне придела, за кустом сирени, одна рама держится на двух гвоздях и вынимается, если поддеть её ножом. Он поддел. Пролез внутрь, ободрав плечо, и встал в темноте, слушая, как колотится собственное сердце.

В церкви пахло холодным воском и пылью. Иконостас уже начали разбирать: нижний ряд стоял голый, иконы сложили у стены, лицами внутрь, как ставят наказанных детей. Завтра их должны были вывезти в Вольск — оклады в Торгсин, доски на дрова. Илья зажёг огарок и поднял его над головой.

Икона Вознесения висела на своём месте, над Царскими вратами. Господь поднимался над горой в золотом круге, апостолы внизу закидывали головы, и Богородица стояла среди них, подняв ладони, — единственная, кто не испугался. В детстве Илья думал, что она машет вслед. Потом понял: не машет. Отпускает.

Он подтащил к вратам скамью, на скамью поставил ящик из-под свечей и полез. Ящик качался. Икона оказалась тяжелее, чем он думал, — дубовая доска в два вершка толщиной, в

серебряном окладе, — и, когда она наконец снялась с крюков, Илья едва не полетел вместе с ней вниз, на каменный пол. Удержался. Постоял на ящике, прижимая доску к груди, и слышал, как сверху, с колокольни, ветер тихо трогает колокол, и тот отзывается — не звуком даже, а чем-то вроде дыхания.

Он завернул икону в матушкин холщовый платок, перевязал бечёвкой и вылез тем же окном.

Он не думал, куда её нести. Ноги сами пошли за церковь, к оврагу, вниз по тропке, через мостик, который они ставили с Алёшей и Карлом два года назад и который с тех пор каждую весну подновляли. На середине мостика Илья остановился перевести дух и посмотрел на ветлу. В темноте букв было не разобрать, но он знал, где они.

Генрих Фогель открыл не сразу. Сначала в окне мельничного домика зажглась лампа, потом долго ничего не происходило, потом дверь приоткрылась на ширину ладони.

— Илья? Was ist los?

Илья молча развязал бечёвку и отвернул край платка.

Генрих долго смотрел на икону. Лицо у него было неподвижное, только усы шевельнулись. У лютеран не было икон. В розентальской кирхе на стене висел простой деревянный крест — тёмный, без распятого, — и пастор Шлейнинг говорил, что Бог не нуждается в изображениях. Генрих верил своему пастору.

— Отец велел спасти, — сказал Илья. — Её одну. Мне некуда больше. У нас искать будут. У Кольцовых — тем более.

— А у меня не будут? — спросил Генрих.

— У вас икон нет. Значит, и искать не придёт в голову.

Генрих подумал. Потом посторонился.

— Семь раз отмерь, — сказал он по-русски. — Я отмерил. Неси наверх.

Они подняли её по крутой лестнице на верхний ярус мельницы, туда, где под самой крышей сходились балки и вращался тяжёлый деревянный вал. Генрих отодрал от стены две доски, поставил икону в простенок лицом к брёвнам и забил доски обратно. Работал он молча, аккуратно, загоняя каждый гвоздь в старую дырку.

— Здесь сухо, — сказал он. — Мука не мокнет — и она не намокнет.

Когда они спускались, на лестнице, на нижней ступеньке, сидела Эльза в ночной рубашке, с накинутым на плечи материнским платком. Ей было одиннадцать. Илья даже не удивился: он уже давно заметил, что эта девочка всегда оказывается там, где что-то происходит.

— Что это было? — спросила она.

— Вознесение, — сказал Илья.

— А куда он вознёсся?

Илья хотел ответить, как отвечал детям, которых тайком учил грамоте, — на небо, к Отцу. Но вместо этого сказал:

— Сейчас — к вам на мельницу.

Эльза подумала и серьёзно кивнула, будто он сообщил ей что-то совершенно разумное.

— Я никому не скажу, — сказала она. — Даже маме.

И Илья почему-то сразу поверил, что не скажет. Эта девочка не говорила лишнего — она запоминала.

Наутро пропажу обнаружили.

Рыжов бегал по церкви, кричал, что попы обокрали народ, что это вредительство и контрреволюция, и требовал немедленно обыскать сторожку. Сторожку обыскали. Нашли Псалтирь, две просфоры, засохшие, как камень, и вышитые васильки на окне. Отец Иоанн стоял во время обыска у печки и молчал. Илья стоял рядом с ним.

Пётр Шумилин пришёл в церковь, когда шум уже утих. Он постоял перед пустым местом над Царскими вратами, где на побелке остался тёмный прямоугольник — ровный, будто вырезанный, — и долго смотрел на него. Потом вышел на паперть, где у ограды курил Илья, и остановился в двух шагах.

Илья ждал. Он думал: сейчас спросит. И тогда — что? Соврать? Он ни разу в жизни не врал Петру Савельичу, который когда-то, до германской войны, подавал кадило его отцу.

Пётр не спросил. Он посмотрел на Илью — на ободранное плечо под рубахой, на руки в царапинах, — и сказал только:

— Шапку надень. Простынешь.

И пошёл вниз, к сельсовету. Вечером в акте об изъятии церковного имущества появилась строчка: «Икона „Вознесение Господне“ в серебряном окладе на месте не обнаружена. По-видимому, вывезена служителем культа ранее и сдана частным лицам. Розыск результатов не дал». Писал Пётр сам, своей рукой.

Колокол снимали два дня.

Из Саратова приехали трое рабочих от «Рудметаллторга» — хмурые, деловитые, в одинаковых брезентовых куртках. Привезли блоки, тали, канаты толщиной в руку. Старший, по фамилии Бочкарёв, полез на колокольню, постучал по колоколу костяшкой пальца, послушал, как тот гудит, и сказал с уважением:

— Ярославский. Оловянишниковское литьё. Пудов сто двадцать, не меньше. Такой бы в Москву, в музей. А его — в печь.

Он сказал это без сожаления, просто как факт, и полез вниз.

Колокол спускали на канатах через пролёт колокольни. Он шёл медленно, поворачиваясь, и на его тёмном боку, позеленевшем от семидесяти пяти лет дождей, проступала славянская вязь — «Приидите, поклонимся». Внизу стояло всё село. Никто не звал — пришли сами. Стояли молча, как год назад на сходе, как на раскулачивании у ворот Кольцовых. Вознесенка за эти два года научилась стоять молча.

Когда колокол коснулся земли, он загудел — низко, глухо, почти неслышно, — и по толпе прошло что-то вроде вздоха.

Дальше его надо было доставить к пристани, где ждала баржа. Дорога вниз, к реке, шла петлями, по нижнему порядку, и на подводе такую тяжесть было не увезти. Бочкарёв решил иначе: спустить колокол прямо с кручи, по деревянному жёлобу из брёвен, к песчаной отмели, на которую баржа подойдёт вплотную. Это было короче и быстрее. Брёвна уложили за полдня. Колокол поставили на катки и подвели к краю.

Держать его на спуске должны были люди. За канаты становились колхозники — за трудодни, по двое на каждый, с тормозными петлями вокруг вбитых в землю кольев. Рыжов выкликал желающих, но желающих не было, и тогда он стал назначать.

Последним, в самом конце главного каната, стоял дед Ерофей. Его назначили потому, что он был бобыль, а бобылю не от кого было заступничества ждать. Ему было за семьдесят. Руки у него были узловатые, коричневые, с неразгибающимися пальцами.

Лида стояла у плетня, у крайней избы, держась за материну юбку. Ей было шесть лет. Анисья не хотела её брать, но Лида пошла сама, и мать махнула рукой. Отсюда, сбоку, было видно всё: и колокол на краю кручи, огромный, тёмный, как перевёрнутый котёл, и людей у канатов, и баржу внизу, на серой воде, и отца — отец стоял возле Бочкарёва, без шапки, и смотрел не на колокол, а куда-то в сторону, на Волгу.

— Пошёл! — крикнул Бочкарёв.

Колокол качнулся и пополз по жёлобу. Канаты натянулись, заскрипели о колья. Люди упирались, откидываясь назад, и пятились, медленно стравливая канат.

Лида смотрела на деда Ерофея. Она и сама не знала, почему смотрит на него, а не на колокол. Может быть, потому, что он единственный не упирался и не пятился, а стоял прямо. Она видела, как дед Ерофей поплевал на ладони. Как перехватил канат. Как посмотрел вниз, на реку, потом наверх, на пустую колокольню.

Потом он перекрестился. А потом разжал руки.

Он сделал это очень просто, как делают привычную работу: раскрыл ладони, и канат пополз из них, сначала медленно, потом быстрее, и вслед за ним, обжигая руки, стали выпускать канат и остальные, потому что удержать без последнего человека было уже нельзя. Кто-то закричал. Бочкарёв кинулся к кольям. Колокол на мгновение будто замер в жёлобе, а потом сорвался, перескочил через брёвна, ударился о выступ кручи и полетел вниз — тяжело, медленно, переворачиваясь в воздухе, как переворачивается во сне человек.

Он упал не на отмель, а левее, в глубину под обрывом, где Волга подходила к самому берегу и где, по старым рассказам, в незапамятные времена утонул купец со всем своим добром.

И когда он ударился о воду, он зазвонил.

Это был один удар — один-единственный, но такой, что его слышали в Розентале, и на том берегу, и, говорят, даже на пароходе, который шёл в ту минуту к Вольску. Над водой поднялся столб брызг, вода сомкнулась, пошли круги, и звук ещё долго стоял над рекой, уходя всё ниже, всё глуше, пока не стало непонятно, звучит он ещё или это только кровь стучит в ушах.

Потом стало тихо.

Бабы в толпе крестились. Кто-то плакал. Старик Петров, тот, у которого поле на взгорке, снял шапку и стоял так, держа её в руках, будто у гроба.

— Вредительство! — заорал Рыжов. Он подлетел к деду Ерофею и схватил его за грудки. — Ты отпустил! Ты, старый пёс! Я видел!

Дед Ерофей стоял, не сопротивляясь. Ладони у него были содраны до мяса, кровь капала на землю.

— Руки старые, сынок, — сказал он. — Не держат.

— Врёшь! Под суд пойдёшь! За вредительство…

— Сорвалось, — сказал Пётр Шумилин.

Он подошёл и встал рядом. Рыжов обернулся к нему, раскрыв рот.

— Сорвалось, — повторил Пётр. — Я видел. Канат по колу проскочил. Кол гнилой был — вот, смотри. — Он пнул ногой кол, и тот, хотя был совсем не гнилой, послушно накренился. — Твои ребята вбивали, Рыжов. Ты им и пиши вредительство.

Рыжов осёкся.

Бочкарёв постоял на краю обрыва, посмотрел на воду, сплюнул.

— Девять сажен там, не меньше, — сказал он. — Течение. Без водолазов не достать. А водолазов под ваш колокол никто не даст. — Он достал из кармана блокнот и что-то записал. — Спишем как утрату при транспортировке. Бывает.

Он сказал «бывает» таким голосом, что стало понятно: бывает часто.

Через два дня крест с купола сняли верёвками и сбросили на церковный двор. Он не зазвонил. Он просто упал в грязь, и его увезли на подводе вместе с иконами.

Лида никому не сказала, что видела.

Её никто и не спросил. Кому придёт в голову спрашивать шестилетнюю девочку, которая весь день молча держалась за материну юбку? Взрослые спорили между собой — сорвалось, не сорвалось, — а Лида молчала и смотрела на деда Ерофея, на его ободранные ладони, и чувствовала, что знает что-то такое, чего не знает никто, даже отец. Это было страшно и немного сладко.

Вечером, укладывая её спать, Анисья спросила:

— Ты чего такая тихая, глазастая? Испугалась?

Лида помотала головой.

Это был первый раз в её жизни, когда она знала правду и промолчала. Потом она будет думать, что промолчать тогда было правильно. Что этим молчанием она спасла деда Ерофея от тюрьмы.

Второй раз будет через шесть лет, и будет совсем иначе. Тогда она не промолчит.

Вечером того же дня отец Иоанн сидел на лавке у окна сторожки, глядя на чёрную церковь без креста, и Илья услышал, как он сказал — не сыну, а куда-то в темноту, тихо и даже как будто с усмешкой:

— Колокол — Волге, икону — немцу. Хорошо Ты распорядился, Господи. Мне бы так не придумать.

II

Пятидесяти пудов, которые Генрих по ночам носил из-под мельницы, хватило до лета тридцать первого года. Как и обещал — и на еду, и на семена.

Семена Матвей посеял на солонцах. Он знал, что там ничего не вырастет, и всё-таки посеял: вспахал на Гнедке склон балки, тот, что повыше и посуше, разбил комья, проборонował, как полагается, и бросил в землю пшеницу. Взошло редко, клочьями, а к июлю на белых проплешинах, где проступала соль, колосья пожелтели и легли, так и не налившись. Собрали меньше, чем посеяли. На огороде у землянки, который Дарья поливала, таская воду вёдрами из ручья, выросли картошка, тыква и немного проса. Это и был урожай.

Матвей тогда впервые сказал вслух то, о чём думал с самого февраля:

— Земля не наша. Не хочет.

Он сказал это не жалуясь, а так, как говорят о погоде. Но Дарья заметила, что с того дня он перестал выходить по утрам на край балки смотреть на Волгу.

Осенью тридцать первого года Степан ушёл в Саратов.

Он ушёл, ни с кем не посоветовавшись: просто однажды утром собрал в мешок рубаху, портянки и краюху хлеба и сказал, что нашёл работу. В Саратове строили завод — огромный, за городом, — и туда брали всех, кто мог держать лопату, не спрашивая, чей ты сын. Степан копал котлованы, таскал кирпичи, потом прибился к механику из ремонтной мастерской, жилистому молчаливому мужику, бывшему матросу, и тот, заметив, что у парня руки сами понимают железо, стал брать его с собой к моторам. К весне Степан мог разобрать и собрать двигатель «Фордзона» с закрытыми глазами. Механик говорил ему, что из него вышел бы хороший тракторист, «если б не анкета».

Анкета догнала его осенью тридцать второго года. На заводе проводили чистку, и в отдел кадров пришла бумага из Вознесенского сельсовета: Кольцов Степан Матвеевич, сын кулака, раскулаченного по третьей категории, лишён избирательных прав. Подпись: председатель сельсовета Шумилин П. С.

Бумагу эту запросил не Пётр. Её запросили с завода, и Пётр ответил так, как полагалось отвечать. Но Степан этого не знал. Он видел только подпись.

Его уволили в тот же день. Механик, провожая его до ворот, сунул ему в карман три рубля и гаечный ключ — хороший, немецкий — и сказал:

— Ты, парень, не озлобляйся. Злоба — она как ржавчина. Снаружи не видно, а железо съест.

Степан ключ взял. Деньги взял. Совет не взял.

Он вернулся в Солёную балку в ноябре, худой, с обветренным лицом и с новой складкой между бровями, которая теперь не расходилась даже во сне. Принёс полмешка муки, купленной на последние деньги на саратовском базаре, и пять фунтов сахара. Мать заплакала, увидев сахар. Отец посмотрел на сына долго и сказал:

— Вернулся.

И больше ничего. Степан ждал, что отец спросит — как там, в Саратове, что делал, чему выучился. Отец не спросил. Он спросил другое:

— Алёшку там не встречал? Он в Вольск ходил на прошлой неделе, на пристань. Вернуться должен.

Голод пришёл в Вознесенку не сразу, а так, как приходит в избу холод, когда печь перестали топить: сначала его не замечаешь, потом начинаешь кутаться, а потом вдруг понимаешь, что пальцы уже не гнутся.

Урожай тридцать второго года был не хуже прочих. Но план по хлебу району дали такой, что Пётр Шумилин, получив его, два дня не выходил из сельсовета. Потом вышел и объявил на собрании, что колхоз «Красный пахарь» сдаёт всё — и фураж, и семенной фонд. Иначе — саботаж, и отвечать будет не он один, а всё правление. Никто не возразил. Возражать за эти три года разучились.

В августе вышел закон, который в селе сразу прозвали законом о колосках. За горсть зерна, подобранную на колхозном поле после жатвы, давали десять лет. За мешок могли и расстрелять. Рыжов, ставший к тому времени бригадиром, сам объезжал поля верхом на том самом буланом жеребце, который когда-то был мельника Сапожникова, и ловил баб с подоткнутыми фартуками. Поймал двоих. Одну — вдову Глушкову, у которой было трое детей, — увезли в Вольск, и больше о ней в Вознесенке не слышали.

Зимой по дворам пошли буксирные бригады — Рыжов, Мохов, Блинов и ещё двое из района. Ходили с железными щупами, длинными, как пики, протыкали ими полы, завалинки, сено на сеновалах, снег в огородах. Искали спрятанный хлеб. Находили редко, но находили. Тогда забирали всё — и спрятанное, и не спрятанное.

К Рождеству в Вознесенке съели всех кошек. К Крещению — собак. Потом начали есть то, что раньше давали скотине: жмых, мякину, лузгу. Пекли лепёшки из лебеды, высушенной ещё с лета, из толчёной коры вяза, из корней рогоза, которые выкапывали из-подо льда на старице. Ребятишки уходили в степь ловить сусликов — выливали их из нор водой, — и суслик был праздником. От лебеды пухли. Сначала пухли ноги, потом лицо, кожа на нём натягивалась и блестела, как у утопленника, а глаза становились маленькими, будто прятались внутрь.

Первыми стали умирать старики. Потом — дети.

В Солёной балке голод был таким же, как в селе. Только ещё тише.

Здесь не было соседей, у которых можно было бы узнать, кто умер этой ночью. Не было буксирных бригад — у лишенцев в землянке нечего было искать. Не было даже собак. Была белая степь, землянка, Гнедко в дощатой загородке, худой, с выпирающими рёбрами, — Матвей кормил его соломой с крыши, — и ветер.

Картошка кончилась в январе. Полмешка саратовской муки Дарья растянула до февраля, подмешивая в неё толчёные жёлуди и лебеду. Сахар она прятала и выдавала по куску, как лекарство.

А ещё был хлеб из Розенталя.

Его приносила Эльза. Каждый вторник и каждую пятницу, после того как в колонии гасили огни, она выходила из дома, спускалась в овраг, переходила мостик и шла по меже вдоль солонцов — две версты в темноте, по снегу, одна. Под шубейкой у неё был хлеб, завёрнутый в полотенце. Один каравай, серый, тяжёлый, наполовину из отрубей, но настоящий, печённый в печи.

Генрих хлеба не носил. Ему нельзя было: розентальский колхоз забрал мельницу ещё в тридцать первом, и Генрих работал на ней теперь колхозным мельником, под учётом, и каждый пуд, который проходил через жернова, записывался в книгу. То, что Маргарита пекла для Кольцовых, было мукой, которую Генрих по горсти, по полгорсти выметал из-под жерновов, из щелей ларей, с балок, где оседала мучная пыль. По закону о колосках это называлось хищением социалистической собственности. За это полагалось то же, что вдове Глушковой.

Генрих это знал. Маргарита знала. Эльза тоже знала — ей было двенадцать, и ей объяснили. Объяснили и спросили, пойдёт ли она. Карл уже уехал на тракторные курсы в Покровск, а взрослому ходить было опаснее: взрослого остановят — спросят, куда. Девочку в темноте никто не заметит.

Эльза пошла. Она не боялась темноты и не боялась степи. Она боялась только одного — что её увидит Рыжов. Но об этом она никому не говорила.

В первый раз дверь землянки открыл Степан. Он долго смотрел на неё — на маленькую остроносую девочку в шубейке, в платке, с белым от инея лицом, — будто не мог понять, кто это и откуда. Потом узнал.

— Фогелева, — сказал он. — Ты чего?

Эльза молча протянула ему полотенце.

Степан развернул и увидел хлеб. И Эльза увидела, как у него дёрнулось лицо — как у человека, которого ударили, а он не может ударить в ответ.

— Отец прислал? — спросил он.

— Мама испекла. Папа намёл.

Степан не сказал «спасибо». Он посторонился, пропуская её к печке погреться, и сказал через плечо, в землянку:

— Мать. Тут немцы хлеба прислали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.